

Юрий Леднев
Макаркино детство

повесть для старшего школьного возраста

В понедельник староста Нина Сомова остановила Макара Груздева у дверей класса и, потупив глаза так, как это она одна, пожалуй, умеет делать, сказала:

- Из вашего сельсовета телефонограмму передали. У тебя мать заболела... Наказала домой приехать. Директор разрешил, поезжай.

- Прямо сейчас?

- Прямо сейчас, на уроки можешь не ходить... Я тебя отпросила...

- Врешь? - вырвалось у Макара.

- Не вру, - не обидевшись, грустно усмехнулась Нина.

Сказала так, что не поверить было невозможно.

Душа Макара возликовала. Известие о болезни матери не очень его напугало. С тех пор, как отец ушел на фронт, она частенько недомогала, похватывалась за сердце, но потом приступы проходили. "Наверное, и сейчас - с сердцем. А может, простудилась?.. Но зато - целую неделю дома побыть. Это же такое счастье!"

И почему в последнее время ему так везти стало? Не то, что раньше. Раньше он все, бывало, впросак попадал. С самых малых лет, как помнит себя Макар, окружали его сплошные неприятности.

Ну, вот почему у него, например, один из передних зубов криво растет? А потому что в детстве рано ходить научился и однажды так разбежался, что угодил верхней губой в подоконник. Реву было! И зуб вывалился. Бабушка Марья утешала: "Это молочный... Другой вырастет..." И вправду вырос на месте выбитого другой зуб, да только желтый какой-то и с косинкой. Макар теперь и улыбаться меньше стал из-за этого зуба. Чего хорошего, если Нина Сомова, или другая какая одноклассница увидит Макаров изъян? Девчонки сразу - "шу-шу-шу" да "хи-хи-хи", и пойдет по училищу прозвище "желтозубый".

Нет, почему все-таки ему в последнее время так везти стало? Вчера пошел в сберкассу проверить облигацию. И была-то у него всего одна облигация. На крыльцо общежития вышел - вспомнил, что калоши забыл. А на улице развезло. Пришлось воротиться. Ребята в комнате увидели, загалдели: "Вернулся! Значит, не в путь". Отшутился: "Ничего! У меня мокроступы волшебные..." Ребята: "Го-го-го! Га-га-га!"

Над калошами Макара, и впрямь, - одна потеха. Они давным-давно лопнули поперек, и Макар подвязывает их к валенкам сложной веревочной системой, им самим изобретенной.

В сберкассе его ждала удача. На облигацию пал выигрыш - двести рублей. Вчера он колебался: истратить деньги сразу или тянуть до стипендии? Сегодня принял решение: "Раз отпустили домой, не с пустыми же руками идти! Надо купить... - вот-вот, правильно... - хлеба! То-то мама обрадуется! Она настоящего

хлеба год, наверное, не едала. Все - с дурандой да колокольном. А уж с картошкой - драники - так это целый праздник!"

В общежитии никого не было. Макар посидел на койке перед дальней дорогой. Снова раздумался о матери. Трудно ей одной. Сильно сдала. А к Макару добрее сделалась. Раньше ух и попадало от нее сыночку! Особенно хорошо помнится случай, происшедший в самом голубом возрасте, когда Макар был еще Макашкой...

...Постирала мать белье, сложила в большую корзину и всего-то на минутку у печки поставила. А Макашка на печи лежал. Рядом - поленья сухие. И косарь для щепанья лучины тут же сунут был. Свесил Макашка голову, на корзину поглядел: хорошо мать простыни подсинила!

Наверное, права все-таки была бабушка Марья, которая говаривала, что есть на свете черти. Иначе, кто же другой "дернул" в то самое время Макашку? Взял он косарь да как скребанет им по печному краю. И раз, и другой, и третий.

Что тут было! Макар не помнит, успел или не успел он тогда подумать, что кирпичная пыль похожа на красный перчик и на голубоватом белье выглядит красиво. Зато шлепок по затылку он помнит отлично.

Потом его за ухо выволокли в прохладные сени и оставили за дверью. Мать, сокрушаясь, принялась перестирывать простыню, а Макашка вдруг вспомнил, что после наказания надо реветь. Он лег на пол, забарабанил босыми пятками в закрытую дверь и заорал так пронзительно, что проходившая мимо открытого окна соседка не выдержала и, заглянув в комнату, спросила:

- Батюшки, Константиновна, что у вас сделалось?

Однако припоминается, что тот несчастный денек на этом не кончился. К вечеру Макашка провинился еще сильнее. Это теперешний Макар, сидя на общежитской койке, усмехается, а тогда было не до смеху. Вот он ясно, как в кино, увидел себя в темной комнате, которая служила для маленького Макашки домашним карцером.

Сидит это он, значит, в темной комнате и тихонько злится. Злится на весь белый свет, но в первую очередь - на "мамку-лямку". А эта самая "мамка-лямка" за стенкой говорит отцу:

- Нет, ты только посмотри, как он ее всю обгрыз!..

Это мать - про новенькую клеенку, которую в сельпо купили. Ее сразу же постелили на стол. Только взрослые отвернулись - Макашка подошел к столу, потрогал обнову. Сначала - руками, потом - языком. Наконец, дотянулся до сгиба клеенки зубами. Для этого даже на цыпочки встал. Куснул угол стола, посмотрел: на клеенке плешинка проступила. Интересно! И прошелся Макашка острыми зубенками вокруг стола по всем четырем краям. Новая клеенка сразу стала хуже старой.

- Прямо, вредитель, а не ребенок!

А ребенком просто в тот день овладел дух исследования. Но разве взрослым это понять!

"Никакой я не вредитель!" - хотел крикнуть Макашка. Но не стал. А про себя подумал: "Сама, мамка-лямка, вредительница. А еще в школе ребят учишь!"

Учительница-вредительница...”

Однако в темной комнате сидеть одному довольно страшно. Тем более что над головой раздался странный звук. Это заняла муха, попавшая в паутину к злобному пауку. Макарка видел днем этого паука. Как разбойник, прятался тот в углу, за отставшими обоями, и набрасывался оттуда на какую-нибудь зазевавшуюся жертву.

Муха похрипела-похрипела и затихла. "Наверное, паук убил пленницу и пьет теперь ее кровь". Стало страшно. В воображении мальчика паук вырос до чудовищных размеров. Сейчас он накинется на маленького Макарку!

То ли показалось, то ли действительно что-то скользнуло по шее, пробежало по голой ручонке. Макаркино сердце пронзил ужас. Мальчика вынесли из темноты на свет, посиневшего от надрывного крика перепуганная мать не могла добиться от сына никакого толку, Макарка и не пытался объяснить, что случилось. Он только, вздрагивая, косился на свою руку и, всхлипывая, повторял: "Паук да муха... паук да муха..." Он так и заснул тогда не в кровати, а на добрых руках отца, и долго еще судорожно вздыхал во сне...

...Макарк клюнул носом и вздрогнул. "Надо же! - испугался он. - Уснул на уроке". Но, обведя глазами комнату, вспомнил, что он вовсе не в классе, что отпущен к матери на побывку, и вскочил с койки. Свернул в узел грязное белье, пихнул на дно котомки. Сверху наволочку чистую положил - для хлеба. И - алё!

Дорога домой начиналась с городского односторонка, который назывался улицей Кузнецкой. Может, раньше тут кузнецы жили? О том Макару неизвестно. За Кузнецкой улицей - Юрьевецкая. Это потому, что в той стороне - город Юрьевец. Есть на Юрьевецкой улице дом под номером четырнадцать, а в доме том...

Еще когда пересекал он площадь, круглую, как сковородка, опять размечтался. Подумал: "Зайти или не зайти?" Потом спохватился: "Да она ж на занятиях... Время-то учебное... Да и мне надо поторапливаться..." Но не думать о ней было уже не в его власти. Опять нахлынули воспоминания. Что это с ним сегодня? К добру ли?

Вспомнилось, как впервые встретился он с нею в родной деревне Могилево...

Уже с утра Макарка услышал от отца, что должна мамина тетка, бабушка Марья, из города приехать. Она и приехала, да не одна, а с троюродной Макаркиной сестренкой Верой. Ой, что с Макаркою стало! Сначала он, сбывчившись, минут пять стоял в углу. Еще бы! Так близко, в одной с ним комнате, появилось другое маленькое существо.

Верочка сама догадалась подойти к нему.

- Здластуй, Макал...

- Здластуй, - неожиданно для себя откликнулся Макарка и вдруг с легкой душой улыбнулся. Ему понравилось, что сестренка картавит одинаково с ним. За чаем он освоился. Охотно сел рядом с маленькой гостьей и даже дул на ее блюдечко.

После чая детям разрешили пойти погулять. Макарка пригласил Верочку "в

луга". Луга эти начинались сразу за школой, где жили Груздевы.

Травы ждали сенокоса. Они стояли едва не в человеческий рост и звенели. Справа, слева, впереди и сзади, как будильники, трещали кузнечики Серьезный, важный шмель гудел басом рабочую песню. А сверху, где-то рядом с солнцем, заливался поздний жаворонок.

В высокой траве можно было лечь на спину, и тогда ближайшие травинки казались игрушечными деревьями, поднявшими макушки прямо в небо. И казалось, что белые облака сверху задевают эти макушки, раскачивают их.

Верочка даже растерялась. Она честно призналась, что никогда в жизни еще не видала такой красоты. Зато Макарка чувствовал себя здесь хозяином. Он, захлебываясь от удовольствия, рассказывал Верочке про бабочек, про больших, зеленых кобылок и про муравьиную тропу.

Муравьи Верочке не понравились.

- Ну их, - сказала девочка. - Козьявки кусачие! - Зато от бабочек она была в восторге. И еще от ромашек, которые появились неожиданно, словно ветер взял да и выплеснул их на зеленой травяной волне к самым ногам девочки. Она кинулась к ним, растопырив маленькие пальчики. Ей хотелось взять их все и унести с собой.

- Хочешь, я сплету тебе венок? - сказал вдруг Макарка. С его стороны это было довольно смелое предложение. Ведь он всего только раз плел венок, да и то под руководством мамы. А тут мамы рядом не было. И все-таки Макарка упрямо повторил вопрос:

- Хочешь, сплету?

Верочка счастливо кивнула головой.

Макар на всю жизнь запомнил тот венок. Стебельки ромашек ломались на сгибах, мастер-плетельщик порядком помял лепестки цветов, но все-таки с грехом пополам закончил цветочную гирлянду и, согнув ее кольцом, связал пучком травы торчавшие концы. Потом была церемония возложения венка на Верину голову. Девочка улыбалась - рот до ушей, полный редких зубенок. Все это было так радостно, так чисто, что Макар и сам сейчас заулыбался.

А другая их встреча была совсем не такой. Но взволновала она Макара не меньше, а, может быть, даже больше.

Когда это случилось? Да-да, правильно, в конце августа - начале сентября. Он еще тогда сочинил первые стихи.

Макар моментально представил себе летнюю дорогу.

Над нею по небу, как нахлестанные лошади, неслись облака. Ветер поднимал сор и катил его куда-то вдаль. Временами из-за пухлого облачного бока выглядывало солнце. И тогда камни, которыми была вымощена дорога, теплели. Это хорошо чувствовали босые ноги.

"Тра-ля-ля! Тра-ля-ля!" Что из того, что парню всего четырнадцать лет? Идет Макар в самостоятельную жизнь. На спине - холщовая, по картошине в углах, котомка. "Тра-ля-ля-ля! Тра-ля-ля-ля!! Интересно, как складывают стихи?" Пришло на ум стихотворение из газеты... про Молдавию, про ее партизан. "Молдавия светлая? Край благодатный!" - "Да, Молдавия, наверное, светлая.

Сады, виноградники. А Германия черная. Стоп! Какой же край Германия? "Германия черная! Край угнетенья?" Ура!!! Стих получается! Эх, бумаги - ни клочка!"

А строчки лезут из головы:

Германия черная!

Край угнетенья!

К тебе приближаются наши полки!

Ты слышишь моторов советских гуденье?

Ты видишь, как блещут на солнце штыки?

"Ух, ты! Вот как сочиняют стихи! Надо на фронт папке послать!.. Хорошо все-таки придти в педучилище с первыми стихами!.. Все будут удивляться, поздравлять: "Ах, к нам поэт пришел!" А что ответить, если спросят: "Почему вы, молодой человек, выбрали педучилище?" Отвечать надо так: "Отец - учитель, мать - тоже. Значит, продолжать сыну родительскую дорогу.

Имейте, граждане, в виду:

Я по тропе отца иду!..

Экзамены Макару не надо было сдавать, потому что в свидетельстве, выданном неполной средней школой, красовались одни отличные отметки. Неясно оставалось, где Макар будет жить. "На первое время можно у двоюродной тетки, Всрочкиной мамы, остановиться. А дальше? Квартиру искать. Мать сказала: "Хорошо бы подешевле..." - Ладно, там видно будет!.." Так вот он рассуждал полгода назад, идя на учебу в Макарьев. Все тогда было в новинку. Ведь он еще не знал, что в педучилище есть общежитие. Он ничего еще не знал из городской жизни. И дом этот двухэтажный, под четырнадцатым номером, еле отыскал тогда. Парадное крыльцо оказалось запертым, и Макар (он отчетливо помнил это) пошел черным ходом.

Он дернул темную от времени, скрипучую дверь и очутился в пустой кухне. Вверх уходила витая лестница, но Макар постеснялся подниматься по ней и громко кашлянул.

Сверху застучали чьи-то легкие ноги. Мелькнул подол платяшка, и, наконец, явилось удивленное девчоночье лицо со вздернутым носиком.

Макар поздоровался с девочкой кивком головы. Та большими серыми глазами окинула его нескладную фигуру, от приплюснутой кепки и котомки до босых пыльных ног, и сбежала вниз. Достала из чугунка вареную картофелину. Подошла к Макару.

- Вот. У нас больше ничего...

Она была уверена, что этот босоногий парень - нищий. Но, приблизившись, видимо, поняла ошибку. Девочка покраснела, прыснула в свободную ладошку, а ту, в которой была зажата нелупленая, "в мундире" картошка, спрятала за спину. При этом ее серые глаза стали круглыми-круглыми, а широкий курносый носик набрал мелких морщинок. "Ну их. Козьявки кусачие!" - вспомнилось Макару.

- Здравствуй, Вера, - сказал он девочке. - Ты, наверно, меня не узнала...

Верочка Звездочетова росла впечатлительной, мечтательной девочкой. Это вовсе не означало, что она не способна была шалить-проказить. Скорее наоборот. Летом целыми днями вместе с подружками проводила она в овраге, который тянулся вдоль Юрьевецкой улицы и где дно было илистым от сбегавших туда дождевых потоков.

Для маленьких модниц было сущим блаженством делать себе "чулки" и "перчатки" из этого черного, с бархатистым отливом ила и щеголять в них. Жаль было только, что мнимые наряды быстро засыхали, трескались и чешуйками отваливались. Тогда приходилось отмывать остатки старой "моды" и, если не лень, примерять "перчатки" и "чулки" нового покроя.

Иногда девочки играли наверху, в песке. Один раз до того расшалились, что швырнули пригоршни песка в кабину проезжавшей мимо машины, а когда шофер остановил грузовик, порскнули в огород мамы Кати и долго потом отсиживались в старой бане, понимая, что за такие "шуточки" может здорово нагореть.

Но более всего Верочка любила играть в "посиделки-погляделки". Это было обычно по воскресеньям, когда "макарята" (так звали в округе жителей Макарьева) разодетые шли на базар, путь к которому лежал по Юрьевецкой.

Верочка с утра садилась у открытого окна вместе со своими куклами. Кукол было всего две: Маша и Даша. Первую, деревянную, сделал Верочке отец, заправский макарьевский столяр, всегда серьезный и даже немного хмурый мужчина с завитками волос, похожими на стружки. Вторую, тряпичную, сшила мама Катя. Маша и Даша приходились друг дружке родными сестрами - на одно лицо. Рот, нос, глаза и брови куклам рисовала бабушка Марья. Она же выделила и "отрезы" на кукольные платья. Отец смастерил игрушечный столик, стулики, кровати. Сама Верочка насобираала стекляшек. Получился "столовый сервиз".

Маша и Даша гостили друг у друга, пили чай, ели суп, ложились отдыхать под клетчатые одеяла. Но большей частью они глазели на народ. Это ведь интересно, на людей посмотреть и себя показать. Иногда они до того "высовывались" из окна, что не удерживались и падали на тротуар, подернутый по краям травкой-муравкой. Сердобольные прохожие поднимали упавших кукол и возвращали Верочке. При этом кто улыбался, кто строил смешные рожицы, кто говорил ласковое слово. И девочке в те минуты казалось, что на свете живут одни прекрасные люди.

Многое разрешалось Верочке в доме мамы Кати. В раннем детстве девочка просыпалась среди ночи и начинала потихоньку хныкать. Мама Катя вставала, шла на кухню, отрезала кусок черного хлеба, посыпала его сахарным песком и вручала капризнице. Верочка уплетала хлеб и засыпала спокойно до утра.

Утром вся семья пила чай. Верочка шла к ведру, зачерпывала ковшиком сырой воды, ставила на стол рядом с нарядной голубой чашечкой из кузнецовского фарфора. Мама Катя наливала чашку дочки неполную. Знала, что та все равно разбавит чай холодной водой из ковшика.

Если ели кашу с молоком из общей миски, Верочка ложечкой строила у

своего края "колодчики", в которые стекало молоко. Отец очень сердился на нее за это. Он не понимал, как это можно из еды делать игру, возьмет и своей огромной ложкой сломает "колодчик". Верочка - в слезы. Обычно плач продолжался до тех пор, пока мама Катя не ставила перед девочкой особое блюдечко с кашей. Вера утихала и, сопя, принималась сооружать новые "колодчики".

К тому времени, когда в городе появился Макар, Верочку страстно потянуло к музам. Она и учебу в ремесленном училище выбрала не потому, что хотела стать токарем или слесарем, а потому, что там, в этом утилите, был хор. Имея от природы нежный голосок, Верочка вскоре выделилась в солистки. Надо было видеть, с какой страстью она исполняла вполне взрослые песни.

...Враг бешеный напал...

Иди, любимый мой,

Иди, родной!

- пела она и сидящим в зале казалось, что перед ними не двенадцатилетняя девочка-подросток, а маленькая женщина только что проводившая в бой своего возлюбленного.

Когда Верочка узнала, что Макар пишет стихи, она пристала к нему с просьбой сочинить что-нибудь "экспромтом". Макар даже поперхнулся, услышав незнакомое слово. Но Верочка объяснила, что это значит - сочинить сходу, долго не раздумывая. Макар наморщил лоб, но так ничего и не придумал сходу.

Зато вечером он поразил Верочку тем, что принялся рассказывать ей "Всадника без головы", которого прочитал накануне.

Колыхались высокие травы в прериях. По ним катился фургон, из которого выглядывала милая головка Луизы Пойндекстер. На ней почему-то красовался венок из ромашек. А злобный Касий Кольхаун пытался завладеть сердцем Луизы и строил козни против храброго Мориса-мустангера. Верочка с замиранием сердца слушала про таинственных всадников, проехавших по американской степи, про выстрел в ночи, про страшного безголового седока, который сводил с ума встречных путешественников. Она до слез хохотала над выдумками Фелима о'Нила, особенно над сигналом тревоги, который произвел слуга мустангера с помощью обыкновенного кактуса и не менее обыкновенного осла.

В тот день Вера и Макар засиделись допоздна и перед тем, как разойтись по комнатам, даже взглянули как-то по-новому друг на друга - прямо глаза в глаза.

Макар поравнялся со знакомым домом, и ноги сами повернули к калитке. Увы! Дома не было никого. И хотя Макар знал, где ключ, но зачем ему отпирать замок, если Верочки нет. Сейчас она, наверное, сидит в классе и пишет контрольную. А может, склонилась над станком и выслушивает наставления мастера, как нарезать болт, как вытачивать втулку, как пользоваться штангенциркулем и другими мудреными для Макара инструментами. А может, Верочка трясется сейчас в кузове "газогенераторки" вместе с другими доморощенными артистами по дороге к леспромхозу. Там ждут их лесорубы, большей частью женщины, которые, может, и не говорили мужьям: "Иди, любимый мой, иди, родной!", - а просто проглотили молча слезы и встали на лесоповал, заменив собой кадровую рабочую силу.

"А вдруг Верочка прибежит на обед!" Надежда эта сразу же показалась смешной, потому что кто же из ремесленного бегаёт домой обедать. Дома - шаром покати, а в училищенской столовке - терпимая по военному времени "шамовка", и все-таки Макар помедлил у крыльца. Достал клочок бумаги (с тех пор, как у него стали получаться стихи, он всегда носил с собой бумагу) и написал записку:

*"Вера, я ушел домой. Заболела мама. А экспромт я сочинил: - Ах, что там?
Ах, кто там? –
Шептали цветы,
А мы говорили
С тобою на "ты"..."*

Ну, до свидания. Макар".

Конечно, стих про цветы и про панибратский разговор на "ты" трудно было назвать экспромтом, потому что мучился над ним автор три дня.

Эх, какие это были дни! Столько впечатлений еще не обрушивалось на Макарову буйную голову.

Первый день был связан с первым выходом в педучилище. Макар готовился к этому как к великому событию...

...Тридцать первое августа - день не учебный, и потому молодой человек не торопился. Он нагладил обмалевшие брюки, из штанин которых на два вершка торчали ноги в тупоносых ботинках, а поверх ботинок были закатаны валиками носки, из-за неимения белой рубахи приладил Макар себе на грудь с помощью английской булавки светлый шелковый шарфик на манер манишки. И занялся прической

Волосы - сущая мука для Макара. Жесткие и прямые, как палки, они никак не хотели зачесываться назад, а идти в училище с челочкой, как первокласснику, просто позорно.

Два часа крутился Макар у теткиного зеркала. Благо, в квартире - ни души, и его фантазии никто не мешает. Намочил парень шевелюру, повязался платком и уперся головой в подушку, чтоб волосы лучше улежались. До тысячи сосчитал. "Наверное, хватит?" Снял платок, глянул в зеркало: весь зачес дыбом - чистый дикобраз.

Однако, пора в училище. Завтра - занятия, а он ни расписания уроков, ни других порядков не знает. Волосы под кепку забрать - и весь сказ!

Аллея, ведущая к подъезду педучилища, еще не была тронута листопадом. Но кое-где осень уже мазнула рыжим лисьим хвостом по веткам. И оттого было весело вокруг. Празднично пылал над входом плакат "С новым учебным годом!"

Тяжелая дубовая дверь подалась не сразу. А когда Макар отпустил ее, хлопнула с гулом, разнесшимся по всему зданию.

На самом верхнем, третьем этаже Макар отыскивал список зачисленных на 1-ый курс. Против фамилии "Груздев" была написана большая буква "О". И только, было, начат Макар соображать, что означает сия литера ("Неужели - "опоздал"?"), как строгий женский голос произнес над ухом:

- Головной убор в помещении снимают.

Кто-то не грубо, но властно стаскивал с него кепку, освобождая несусвет-

ную Макарову шевелюру от спасительного прикрытия, Макар обернулся. Перед ним стояла высокая худая женщина с тонкими чертами лица и начинающими седесть волосами. Она так и отпрянула, увидав всклокоченные вихры Макара, которые, обрадовавшись свободе, тотчас поднялись, как рога у черта.

- Боже мой! - воскликнула женщина. - Вы, юноша, совершенно не умеете следить за собой. Немедленно отправляйтесь в парикмахерскую. Она - в центре города. Сюда в таком виде являться не смейте!

Макар, красный, как рак, выбрался на улицу.

В парикмахерскую он все-таки не пошел. Увы, молодые люди нынешнего поколения, вы не оригинальны.

Ваши отцы, деды, прадеды и пращурь в ваши четырнадцать лет или чуть старше тоже почему-то не любили стричься. По-видимому, здесь скрыта ложная заявка на самостоятельность, протест против мнения старших, которые наивно полагают, что будто бы они - хозяева всех этих белобрых, чернявых, рыжих шевелюр, красующихся над независимыми юными лбами.

Дудки! Обладатели распрекрасных этих причесок сами сумеют распорядиться ими. Они гордятся своей растопыренной мохнатой волосней. Так молодой дубок гордится резной листвой в конце мая. И ничего, что у дубов постарше листья темнее да укладистее, а тут торчат во всех направлениях! Все равно юный дубишко хорохорится, подбоченясь на виду у стайки голенастых девчонок-березок, едва научившихся самостоятельно заплетать косички, Подружки вроде и не замечают зазная-соседа. И смотрят-то вовсе в другую сторону. Только нег-нет - и отведут с глаз прядку, спутанную ветром, чтоб покоситься на крепыша в зеленых взъерошенных кудряшках, тихонько зашептаться и хихикнуть.

Ни дать, ни взять, - так вели себя близ Макара и других парней соседки-первокурсницы, когда расселись по партам в начальный день сентября. Если принять во внимание, что мужской состав класса насчитывал пятерых, а всего в группе было тридцать человек, то можете себе представить, какое девчачье засыле царило в I-ОМ "А". Конечно, "слабый пол" моментально перезнакомился и щебетал, что колхозные воробьи на току, когда молотильщики ушли на обед. Парни же хранили совестливое молчание.

И тут вошла учительница. Вошла она в класс летящей, легкой походкой. Поздоровалась в ответ на нестройное вставание первокурсников, села к столику и раскрыла книжный томик.

Макара прошиб пот. Это была та самая, как успел он ее прозвать, "сердитая, остролицая", от которой он получил вчера внушение за неряшливый чуб. Он спрятал взгляд, пригнулся и пригладил ставшие за ночь более покорными вихры, боясь быть узнанным.

Занятый собственной персоной Макар не сразу заметил, что по классу разлилась тишина. Она заполнила, казалось, все уголки и под партами, и в партах, и за круглой железной печкой. И даже рты сидящих за партами набрали этой тишины, боясь проглотить или невзначай выпустить ее сквозь плотно сжатые губы.

И только один голос звучал Фаина Николаевна Жиленко (так звали учи-

тельницу) читала. Как она читала! Казалось бы, текст был выбран крайне неудачно. Кругом шла война. Фашисты яростно сопротивлялись, откатываясь за советские рубежи. Лилась кровь. А тут...

Тут пахло господским садом. Веяло подмосковной деревней, лугами, рекой. И, хоть сто раз слышаны были те же самые слова в школе, в пятом, пожалуй, еще классе; хоть не до "сантиментов" вроде было бы подросткам, съехавшимся в заштатный голодный городишко военного времени из дальних глубин, - но искусство чтения переворачивало душу, заставляло начисто забыть частные беды перед главной бедой, главной трагедией бытия - извечной борьбой добра и зла. И вот уже слышались явственные всплески весел. Потом затихли. И вдруг все тридцать пар глаз воочию увидели остановившуюся посреди реки лодку, а в этой лодке - косматого, угрюмого человека, державшего в широких ладонях доверчивую собачонку с веревочной петлей на шее... Муму утонула. А из зажмуренных глаз немого мужика выдавились мелкие слезинки и... перебрались на ресницы первокурсников.

Класс плакал. Плакал молча, плакал удивленно, не понимая, что происходит с глазами, с чувствами, с сердцем. Давно прозвенел звонок. Сначала - с урока, потом - на другой урок. В полуоткрытых дверях смущенно топтался учитель арифметики, а класс не замечал ничего, кроме одиноко бредущего вдоль по дороге Герасима.

И был еще третий день, Макар в то утро встал ни свет, ни заря. Оделся и, чтобы не скрипеть половицами и не перебудить весь дом, не пошел сразу умываться, а сел к окошку с книгой.

Читалось ему что-то плохо. Заданный из "Муму" отрывок в чем-то проигрывал при чтении про себя, не давал той волшебной картины, которая виделась вчера в классе.

Макар вздохнул и положил книгу на подоконник. Встал, потянулся и пошел на цыпочках умываться.

Рукомойник висел внизу, в кухне. Чтобы попасть туда, надо было миновать еще одну комнату. Макар уже пересек, было, ее, но неожиданно замер, как вкопанный. Взгляд его поймал что-то необыкновенное.

На кровати у противоположной стены спала Вера. Занимающийся неяркий осенний рассвет заглядывал в окно и высвечивал рассыпавшиеся по подушке кудряшки. Одеяло сбилось с девочки. Тонюсенькая лялочка льняной рубашонки тоже сползла с левого плеча, и от этого обнажилась крохотная грудка. Кожа на ней только-только начала припухать и смотрелась, как молоденькая, выглянувшая из укромного тайничка лесная, темно-розовая волнушка.

Макар залился румянцем, наверное, с головы до пят. Ноги его хотели бежать прочь. А глаза не в силах были оторваться от таинственного волшебства, которое открылось ему так неожиданно, так простодушно, что тут уж ничего нельзя было поделать.

Вера тихонько засмеялась чему-то во сне и повернулась на бок. Видение исчезло. Макара как ветром сдуло в кухню. В это утро он постарался не попасться на глаза Верочке, ради чего пожертвовал даже бедным теткинским зав-

траком.

С той поры они с Верочкой и не виделись. И - ладно! Макару все казалось, что встретиться он сейчас со своей "кузиной" (слово-то прямо от Майна Рида!), - спылат от стыда и выдаст себя с головой, хотя, впрочем, он ни в чем вроде и не виноват. Кроме нежности, он никаких других чувств к Вере не знал. Но теперь еще добавилась какая-то робость.

А с жильем все решилось как нельзя проще, и все в тот же день. На большой перемене сосед по парте Кольша Кулякин спросил:

- Ты чего про общежитие заявления не подавши?

- Мне, наверное, откажут, - сказал Макар. - У меня родственники в городе есть...

- Чудак! - засмеялся Кольша. - Да ведь ты - "О".

- А что это такое?

- Отличник, значит.. И прием без экзаменов, и общежитие - безо всякого...

- Ну?

- Вот тебе и антилопа-гну, - передразнил Кольша. - Неси скорее заявление в канцелярию.

В канцелярии набралась очередь. Место ему в очереди досталось за Ниной Сомовой, старостой класса. Та кивнула ему приветливо и тут же разговорилась с подружкой, невольно подставив прядку волос прямо под нос Макару. От волос пахло ландышами. Макар мог поклясться, что точно так вот пахли на поляне найденные им в далеком детстве белые, резные бубенчики лесных цветов, которые он собрал тогда для сестренки, отгостившей у них в деревне и отъезжавшей в город.

У Макара закружилась голова, и он шумно втянул в себя воздух. Староста оглянулась и подозрительно сощурила глаза, стараясь понять, что это творится с этим нескладным и, видать, не в меру впечатлительным "тюрей-парнем".

А "тюрей-парню" словно весь мир сегодня открывался заново. Бывают такие просветленные минуты, когда то ли от выглянувшего солнца, то ли от какого-то другого, внутреннего света ярче станут предметы вокруг, заиграют всеми красками, и появится на душе... Впрочем, очень трудно объяснить, что появляется на душе в такие времена, когда тебе нет еще пятнадцати и вокруг все так молодо.

Ах, что там? Ах, кто там? –

Шептали цветы,

А мы говорили

С тобою на "ты"...

Дальше от Верочкиного дома Макару надо было идти как раз мимо базара. По причине буднего времени на рынке народу было мало. Стояли за дальним прилавком три бабы с молоком. Молоко, разлитое в бутылки из-под вина, из-за цвета стекла отливало зеленью.

Для интересу Макар приценился. "Чекушка" молока стоила десятку. Несправедливо все-таки устроена жизнь! Это что же значит: если стипендия у Макара - 80 рублей, то он на нее сможет купить в месяц восемь чекушек? И все?!

Не густо...

Молока-то бы Макару покупать надо, потому как врачи признают у него малокровие. Да разве за такую цену возможно?

Нет, уж, приходится нажимать на картошку. Да еще на лук. Кольта Кулякин, сосед по парте, родом из Унжи, а там с древних лет лук хорошо растет. Унжаков так и дразнят всех - "луковники". Вот Макар и скооперировался с Кольшей, благо в общежитии их койки тоже соседние. Крепко сдружились за полгода ребята. Особенно после одного случая... Как-то новый директор педучилища, приехавший по ранению с фронта, решил навестить студенческое общежитие. Бывший армейский офицер, он привык к строгому порядку и, пока шел размеренным шагом по коридору общежития, получил полный заряд злости.

На кухне, где ребята варили пищу, валялась, где попало, картофельная шелуха. В уборной на полу было полно окурков. А в умывальнике кто-то открыл кран, повесил на него солдатский котелок и ушел. Котелок был полнехонек, а вода вес лилась и лилась через край. И уже на полу появилась изрядная лужа.

- Чей котелок? - громко крикнул директор.

И тут в умывальник вбежал сломя голову Кольша Кулякин. Он отлучался по какой-то надобности. Думал, что не надолго, да вот задержался и теперь просто душно стоял перед грозным взором руководителя, опустив руки по швам и хлопая карими глазами.

- Фамилия? Имя? - выстреливал в него вопросами директор.

- Кулякин! Николай! - в тон ему отвечал Кольша. Подумал секунду и еще выпалил: - Первый курс!

Это нелепое и неизвестно как получившееся передразнивание другого бы насмешило. А Владимир Яковлевич (так звали директора) вконец рассердился.

- Вы исключены из общежития, - сказал он сдавленным от гнева голосом. И ушел чуть ли не строевым шагом.

Вернулся Кольша в комнату убитый горем. Шутка ли в деле - оказаться вышибленным из общежития накануне зимы, когда уже и родители знают, что сын хорошо устроен и не потребует добавочных квартирных!

Макар первым узнал о Кольшином конфузе. И решительно направился к директору. Правда, у директорского кабинета немного потоптался, испытывая некоторую боязнь. Но все-таки постучал.

- Да-да! - послышалось за дверью.

Это его несколько ободрило, и Макар переступил порог. Трудно сейчас воспроизвести все то, что говорил он директору. Жаль, что сия пламенная речь не запечатлена была на пленке. Однако смысл Макарова адвокатства сводился вот к чему. Он напирал на то, что в положении Кулякина Кольши мог оказаться кто угодно: сам директор, министр просвещения, наконец, сам Бог Саваоф. Вот посели их в студенческое общежитие - и окажутся, за милую душу окажутся. Так неужели министра или Бога надо за оплошность лишать права на жилую площадь? А что это была оплошность, видно и слепому. Вот, небось, за окурки да за картофельную шелуху никого не наказали? А почему? Не пойманы? И спроси - не признаются. Кольша - другой, Кольша сразу брякнул. "Мой котелок!" Честно? Честно! Так это, выходит, его за честность из общежития шибанули?..

Владимир Яковлевич слушал сначала с удивлением, потом с досадой, а после с явным интересом. Горячность Макара ему понравилась.

- Ишь ты, какие философы у нас водятся! - сказал он, когда Макар перевел дух. - Ну, ладно, правдолюбец. Иди, говори своему Кулякину: я приказ отменяю.

Но на доске объявлений все-таки в тот день появились две бумажки. В первой говорилось о том, что "учащийся первого курса Н. Кулякин за нарушение правил внутреннего распорядка из общежития отчислен". А во второй были такие слова: "Учитывая ходатайство товарищей по комнате, отчисление из общежития Н. Кулякина, учащегося первого курса, отменяю".

Кольша - человек скрытный, молчаливый, - не сразу поймешь, что у него на душе, - а тут заплакал. "И почему это люди плачут не тогда, когда их обидают, а потом, когда простят, когда справедливость наружу выйдет?.." Да, сидит сейчас, поди, Кольша за партой один и решает два варианта контрольной, Макара ведь рядом нет, и некому Нине Сомовой ее вариант решить. Самой-то ей нипочем не справиться... "Погоди-ка, погоди? А что это меня с контрольной домой отпустили? Как это? Ведь контрольная полугодовая..."

Макар даже остановился посреди базарных рядов. Что-то разволновало его. То ли директорская чуткость, то ли собственная забота о нерешенной контрольной по арифметике. Ну, да ладно! С арифметикой у Макара все в порядке. Вот с русским труднее. Фаина Николаевна недавно такое предложенье ему для разбора подкинула, что закачаешься. "Э, да это - гроза!" Попробуй, определи тут подлежащее, Макар бухнул: "Подлежащее - "гроза". Дудки! Оказывается - "это", вот подлежащее-то. Правда, Макар до сих пор не может согласиться с Фаиной Николаевной. Ведь в учебнике написано: "Подлежащее - то, о чем говорится в предложении". А говорится тут про грозу, а не про какое-то пустое "это". Без грозы оно ничего не стоит.

- Стоит, паря, стоит... - протянула стоявшая за прилавком бабка.

Макар не заметил, что рассуждает вслух. Последние его слова и приняла на счет своего товара рыночная торговка, перед которой лежали три пайки черного хлеба. За каждую старуха просила по шестидесяти рублей.

Увидев хлеб, Макар сглотнул слюну. Неутолимое чувство голода преследовало его уже много декад. Почему декад? Да потому, что дни и месяцы в тылу измерялись хлебными карточками, а карточки делились на декадные полоски.

Каждое утро дежурный по комнате ни свет, ни заря отправлялся со сшитыми декадными полосками в буфет. Полоски были поделены еще на маленькие талончики по 200 и 300 граммов. Только это пустое - никто из едоков не мелочился, а брал сразу по 500 граммов. Через полтора часа стояния в очереди дежурный возвращался нагруженный пятисотграммовками. Четырнадцать жильцов - столько же паек. Избави бог - потерять крохотный довесок. Тыловой голод диктовал жестокое правило: человек, нарушивший правило хлебной дележки хоть на пять граммов, наказывался самосудом. Макар до сих пор не может забыть, как били Женьку Муравья за то, что тот потерял хлебные карточки на всю комнату. И полбеды бы, если б в конце декады, а то в самом начале? Конечно, у Женьки карточки кто-то спер в очереди. Но это никого не интересовало. Ребята

как будто озверели. Они повалили Женьку на пол и колошматили чем попадя, Макар тоже ненавидел в ту минуту Женьку: раззява оставил всех без хлеба на десять дней. Но ударить виновника не смог.

Когда Женька, доведенный пинками и тумаками до изнеможения, завыл, размазывая по лицу слезы, Макар заорал: "Ребята! Оставьте его..." И начал оттаскивать от поверженного Женьки наиболее активных экзекуторов. В горячке и заступнику перепало. Несколько дней ходил Макар с фонарем под глазом.

Больше карточки не терялись. И ходили с тех пор за хлебом в очередь вместе с дежурным еще двое "ассистентов".

Бери, паря, бери, - настаивала старуха-торговка. Макар знал, что это заправская спекулянтка. Откуда у нее пайки, да еще по семьсот граммов? Ясное дело - такая норма только в ремесленном. Кто знает, может, одна из этих паек Верочкина? Ребята и девчата из РУ частенько продавали свой хлеб. Продавали недорого, и бабки-торговки пользовались ребячьей простотой и на каждой пайке нагревали руки.

Макар позыркал глазами по прилавкам. Больше хлеба ни у кого не было. Только у этой карги. Причем для блезиру даже довесочки на каждой пайке лежат, крохотные, по десять граммов. Ох, и пройдоха! Отрезала, поди, от каждой пайки, а делает вид, что все по совести. "Судить бы тебя, бабка, надо, ну, да ладно!" - проговорил под нос Макар. Бабка то ли не расслышала, то ли сделала вид, что не слышит. Старательно пересчитала деньги - восемнадцать червонцев, отдала хлеб. Проследила глазами, как Макар отправил все три довеска в рот (не утерпел-таки!).

Никогда никто, наверное, так бережно не завертывал свою покупку, как делал это Макар. Даже бабка, продавшая хлеб по бессовестной цене, умиленно глядела, как достал парень чистую наволочку, расстелил ее на прилавке, уложил хлебные кубики один к другому, запеленал, как ребенка, и осторожно опустил в устье котомки.

Кому, как не ему, Макару Груздеву, знать цену хлебу? У других дома - какое никакое, а все хозяйство. А какое хозяйство может быть у матери, сельской учительницы, у которой и квартира-то сначала была при школе, а как отец на фронт ушел, так пришлось и оттуда съехать к дальней родственнице, тетке Ульяне. Тетка Ульяна - издавна бобылка, корову не держит. Значит, и навозу под огород нету, и ничего-то, кроме картошки, на том огороде не растет.

Макар никогда раньше, до войны, не просил у матери хлеба. Как-то в голову не приходило. В кухонном залавке всегда лежала буханка. Можно было подойти и отрезать, а чаще отломить кусок, какой угодно величины, и умчаться с ним на улицу. По праздникам это часто был кусок пирога или какая-нибудь пышка, пампушка, плюшка, которые любила изобретать мать.

Макар не забудет тот день, когда он подошел к залавку, а там, в просторном и глубоком ящике, в уголке, сиротливо лежала первая выданная по карточкам пайка, принесенная отцом из магазина, где он простоял в очереди два часа. Было, помнится, воскресенье, с выпечкой опоздали. К тому же пекарей постигла не-

удача. Корка у пайки отстала, под ней была большая дыра. Про такой хлеб бабушка Марья сказала бы: "Ну, видно, Христос в нем ночевал..."

И вот тогда в первый раз понял Макарка, что нельзя ему отламывать от этой несчастной пайки даже крошки без спроса. Он подошел к матери. Та, заметно похудевшая, осунувшаяся, в старой платке, сидела, кутаясь в пальто, над стопкой тетрадей.

- Мам, я отломлю хлебца?

Он так и сказал "хлебца", как говорили нищие-побирушки, частенько ходившие по деревням перед самой войной, а потом вдруг переставшие ходить.

Мать печально посмотрела на бледного, не по годам вытянувшегося сынишку, кивнула молча головой, а в глазах ее стояли слезы.

А ночью, Макарка помнит, проснулся он от громких голосов. Разговаривали родители.

- Я не могу больше так! - приглушенно выкрикивала мать, сидя на кровати с красными, злыми глазами. (В спальне почему-то горел свет, и Макарка в первую очередь увидел эти воспаленные от слез материнские глаза). - Нет хлеба! Нет дров! Надо что-то делать. Ты же мужчина! Господи, ничего-то ты не можешь!!

И мать заплакала беспомощно, по-детски, всхлипывая и дергая плечами.

Отец, как каменный, сидел поодаль, на стуле. Лоб его был страдальчески сморщен. Казалось, отец о чем-то думал. Может быть, о том, что подлец Гитлер не предупредил о начале войны никого. Иначе все бы подготовились. И отец тоже. Раза в два увеличил бы огород, купил бы весной корову, завез бы заранее дрова в школу, не дожидаясь, когда всех лошадей сразу заберут на фронт...

А может, ни о чем этом отец и не думал. Может, он морщился от криков матери, которая впала в истерику от обрушившегося на нее голода, холода и прочей нужды. "Ах, мама-мама! То ли еще ждало тебя впереди?.."

И вдруг морщины на лбу отца расправились. Он резко поднялся. Начал судорожно одеваться. Достал из-за печки веревку, топор. Принес фонарь "летучую мышь", зажег, прикрутил фитилек. На лице отца была написана такая решимость, как будто он выходил на смертный бой.

Мать догнала его на пороге, вцепилась руками в полу пальто.

- Куда ты, Ваня?

- Воровать! - громко ответил отец. Он поднял высоко голову и повторил: - Во-ро-вать!

И тогда мать испугалась. Она повисла на руке у отца, полураздетая, с растрепанными волосами.

- Не пущу, Ваня! Не пущу! Вернись сейчас же. Пусть голод! Пусть холод! Я платье последнее продам, скатерть, одеяло. Все променяю... Не пущу!.. Слышишь, не пущу!..

Макарка сжался на постели в комок, а сердце у него стало маленьким-маленьким. Притихший и съезженный, он смотрел на родителей, которые никогда не узнают, что сын был свидетелем этой стыдной ночной сцены.

Через две недели отца вызвали в военкомат. Вернулся он подстриженным под машинку. Мать на сей раз не плакала. Молча собрала белье, молча разрешила пополам ржаную пайку. Положила "подорожник" в белую полотняную котомку, точно такую же, какая сейчас за плечами у Макара, с двумя картошинами по углам, чтоб удобней затягивать на них лямки. И вся семья вышла к подводе, уже ожидавшей на большаке, где условился отец с возницей.

Вышли трое. Один сел в телегу. Двое остались стоять, махая руками вслед отъезжавшему.

Макарке казалось, что отец при расставании смотрел прямо ему в глаза, словно хотел безмолвно спросить, умеет ли его сын быть мужчиной, опорой в жизни.

Отец! Не было у Макара большего друга на Земле. Все мальчишеские тайны знал папка. И сам не таился от сына. Вот мама не знает, а Макар знает, что отец добровольно ушел на фронт. Комиссия забракела его по зрению еще в начале войны. Товарищ по рабфаку в военкомате работает. Помог, чтобы решение комиссии было пересмотрено. "Постой, постой! Это что же такое? Значит, по знакомству ушел папка на войну!?"

Макар даже остановился. "Чудно получается. По знакомству можно в кино билет достать или у повара в столовой вторую тарелку похлебки выпросить. А тут на войну ведь!..

Городские дома кончились. "Ну, здравствуй, юрьеvecкий тракт!"

"От Макарья до Юрья", - так в старину окрестили эту дорогу люди добрые. Так по привычке и сейчас кличут. Не отремонтированная, видно, со времен Ивана Грозного, вся в выбоинах и ухабах, летом она была сущим проклятием для шоферов. Автобусы здесь не ходили, лишь грузовики осмеливались пускаться в путь. На ухабах их кузова кренились то вправо, то влево. Казалось, при встрече машины вежливо раскланивались друг с другом.

Но сегодня, как назло, - ни одной попутки. Макар уже километров семь отшагал. Ноги стало саднить на запятках. Стер, значит. А впереди еще верст двадцать...

Показалась деревня Верхник. Тут жила тетка Евдокия. Можно было зайти, передохнуть. Тетка хоть и не родная, а семиюродная, но щей плеснет.

Однако, вспомнилась последняя встреча с теткой Евдокией, и щеки обожгло. "Нет, ни за что!" Когда же это он в последний раз с ней виделся? Да, точно, в октябрьские праздники...

...Мать тогда тоже приболела. Макар шел к ней не как сейчас - с пустой котомкой. Вышел из Макарьева в сумерках, после уроков, припозднился. И завернул к тетке Евдокии. А та как раз пышки белые пекла. Ждала, видно, гостей.

Макар оказался гостем неожиданным. Но накормить его тетка накормила и ночевать оставила. А сама убежала на полчаса к соседке. Ну, Макар и соблазнился: стащил у нее с полки одну пышку, спрятал в угол пустой котомки - маме гостинец.

Не знал парень, что пышки у тетки Евдокии считанные. Поздно вечером хватилась она пропажи и навела ночью в Макаровой котомке ревизию.

Утром Макар собирается в путь, а тетка такая ласковая: чаю предлагает. С

пышкой. Пышка поменьше той, какую он вчера спер. Ну, ничего. Макар чай выпил, а пышку не тронул. "Спасибо, - говорит, - а это я маме - в гостинец". Сам думает: "Вот, я две пышки теперь принесу". Полез в котомку, а там вчерашней пышки как не бывало Тетка Евдокия у печки стоит, за ним наблюдает.

Встретились глазами и покраснели оба. Макар оттого, что поймала его тетка, а Евдокия потому, что поняла: не для себя украл парень пышку, вишь, вот и эту не съел, а она лишила его радости больную мать пшеничной пышкой в праздник угостить. Ведь, поди-ко, одну-то она не съест, сыну отдаст.

Засуетилась тетка, захотела исправить промашку. Кренделек еще в руку парня сунула. Макар, багровый от смущения, хотел, было, не брать, но совсем стушевался, схватил кренделек и, на ходу надевая шапку, выкатился за двери. Так что к тетке Евдокии ему сейчас идти все равно, что босиком по горячим углям...

Длинна ты, зимняя дорога! Вся в ледышках, в колеях снежных, в заметях. Длинна и пустынна. Нет людей. Люди воюют. Нет лошадей. И лошади воюют. Машин не видать. Машины тоже воюют. Все, кажется, на войне.

Как она подкралась, эта проклятая война? В самый ясный, в самый безоблачный день, Макар никогда не забудет того дня...

...Отец впервые взял его на рыбалку. Вышли из дому еще затемно. Далеко-далеко на востоке край неба прирумянило. Под ногами по обе стороны тропки - трава, от росы седая. Заденешь - ручейки по сапогам текут. А умоешься такой росой - и сонливости как не бывало.

Где-то за лесом петухи заливались, зарю торопили. Тропинка стала уже. По бокам теснились заросли бузины и ивняка. Макарка весь промок и хотел, было, захныкать, как вдруг... Кусты разбежались по сторонам и открыли невысокий берег.

Солнце собиралось всходить. А от воды шел пар. Он поднимался слоями. И вот эти слои обволокли первые лучи, брызнувшие из-за далекого темного лесного гребешка. Прозрачные капельки тумана смешались со светом. Над тихим речным зеркалом загорелось непередаваемое сияние.

Словно несметные тучи золотых мошек толклись над берегом. Каждый новый клуб тумана тушил эти золотинки, чтоб через мгновение от прилива новых лучей они разгорелись еще ярче. Все вокруг отступило на задний план, и только эта игра влаги и света властвовала безраздельно над миром. Сотни, тысячи, миллионы крохотных радуг переливались всюду, куда хватало взора. Отец и сын замерли, любуясь утренним чудом, которое, к сожалению, было недолговечным. Край солнца высунулся и спугнул туманное волшебство.

Удивительный покой стоял над рекою. Только птичий звон, стократно повторенный гулким колоколом неба, доносился из леса. Да в далекой деревне все громче заливались петухи.

Отец наладил Макаркину удочку, показал ему, как надо надевать на крючок червяка и закидывать леску в воду. Потом забросил свою. Два поплавка - красный и синий - закачались на волнах. Отец достал из кармана хлебный кус, размял его в ладонях на крошки и сыпанул их горстью у берега. Потом, убедив-

шись, что острый конец удилица хорошо воткнут в землю, присел на круглый валун. Макарке он приспособил небольшой чурбачок, валявшийся у воды.

Ждать пришлось недолго. Синий поплавок стал подрагивать. Его потащило в сторону и вдруг дернуло. Еще и еще. Отец подсек невидимую добычу. И вот уже над водой забила на лесе серебряная рыбка.

Любопытно называют на Руси рыбью мелочь: "шуренок", "сороженок", "пескарик", "карасик". Но про молодых лещей и язей никогда не говорят "лещенок" или "язенок", а обязательно добавляют приставку "под" - "подлещик", "подъязок".

Отец как раз поймал подъязка. Он бросил его в ведро, заранее наполненное водой, поправил червя и вновь закинул удочку. И снова через минуту на леске затанцевала рыбка. Еще и еще. Синий поплавок едва успевал долетать до воды, как его приходилось вновь подбрасывать в воздух.

Макарка чуть не плакат от зависти. Его красный поплавок не двигался. Если бы отец не был так увлечен клевом, он давно бы уже посмотрел сынишкину удочку и все понял бы... Макарку на рыбалке губила самая распроклятая жадность.

Ну, скажите на милость, кто из серьезных рыбаков ловит на "выползка" - здоровенного, толщиной с палец червячищу? А Макарка, как увидел его в банке, так и порешил сразу: "Этот мой!" И живо напялил его на крючок. Сидит и ждет чего-то. А чего ждать, когда на крючке такое страшилище вьется. Сушая змея, а не червь.

Но то ли судьба решила вознаградить Макарку за долгое терпение, то ли у новичка-рыбака и на голый крюк рыба идет, - только выпало меньшому Груздеву преогромное счастье.

Красный поплавок не дрожат, не танцевал, не бегал по воде, а сразу как-то вдруг ушел в глубину. Аж удилице согнуло.

Рыба, цапнувшая Макаркину насадку, оказалась килограммовой щукой. Торжествующие сын и отец шествовали домой, неся с дюжину подъязков на кукане и щуку. Солнце уже успело забраться довольно высоко, роса на травах высохла. Набирал силу летний день

Мать долгое время не хотела верить, что щуку поймал Макарка. Пришлось и отцу, и сыну дать честное слово в том, что так это и было, да и не могло быть иначе.

- Ну, - развела руками мать, - значит, помощник у меня вырос, добытчик! Теперь нам с тобой, Ваня, ничего не страшно.

Гордый похвалой Макарка крутился возле кухонного стола, на котором покоилась щука. Хвост ее безжизненно свисал с края стола, глаза остекленели, пасть открыта. А в пасти у щуки - зубы. Словно булавки, косо натыканы.

Ходит вокруг щуки Макарка, и хочется ему эти булавки потрогать: острые ли? И вот уже розовый пальчик тянется в открытую щучью пасть... Щелк! Захлопнулась пасть. Ох, и взвыл Макарка! Несколько минут танцевал он у кухонного стола, пока отец разжимал отверткой намертво стиснутые рыбы челюсти. Палец извлекли весь в крови. Мать йодом его залила, отчего Макарка еще поперебирал ногами. Потом с забинтованной "куколкой" он присел в уголке у

окна.

Боль не утихала. Наверное, она не кончилась бы долго, если б...

В дверь резко постучали. Отец пошел открывать, и Макарка услышал его удивленный голос:

- Архип Леонидович?! Вот не ждал! Какими ветрами?

Это был плотник Архип из соседней деревни Осиево. Он прошел в комнату, не дожидаясь приглашения, сел на стул, потом спохватился, снял кепку.

- Ты извиняй, Иван Семенович... Мимо я ехал, из района... Ну, криулек маленько в твою сторону сделал... Думаю: "Дай заеду... Не знают, поди..." Вот заехал. Война началась, Иван Семенович... Война с немцем.

В доме стало тихо-тихо, как при покойнике.

Потом отец сказал:

- Раздевайся, Архип Леонидович. Новость ты принес, сам знаешь какую. Катя, поставь самовар... Гитлера мы, конечно, разобьем. Как самураев били, белофиннов... Поставь, Катя, самовар... Раздевайся, Архип Леонидович... Приемник у меня есть с сухим питанием... Батареи сели, правда. Но надо, надо включить, послушать. Поговорить надо...

Таким вот запомнился Макару первый день войны. "Отчего, же она, война? Неужели оттого, что люди разные? Красные и белые. Фашисты и антифашисты. Жулики и честные. Да, люди - очень разные. Вот взять хотя бы Пашку Гузова и Пашку Лукоянова с хутора Мостовка. Где они теперь, интересно... По возрасту оба должны быть в армии. А, кто знает, может, воюют теперь по разные стороны фронта..."

С хуторскими ребятами познакомился Макарка, когда еще в первом классе учился. Пашки к тому времени уже по четыре класса кончили, а дальше учиться не стали. Пашка Гузов сам не захотел. А Пашку Лукоянова домашние не пустили дальше учиться. И вот что еще всегда чудно казалось Макарке: семья у Пашек одна, а фамилии разные. Взрослые говорили: это потому, что они сводные братья. У Пашки Гузова - не отец, а отчим, а у Пашки Лукоянова, вместо матери - мачеха.

А сошелся Макарка с Пашками вот как.

Шел он с ведерком по тропке мимо хутора в молодой ельник. Там белые грибы в ту осень шибко росли. Пройдешь по небольшому пяточку - штук десять, а то и двадцать найдешь.

Но дело не в этом. Шел, значит, Макарка мимо хутора и вдруг услышал, что в хуторской избе тарарам стоит. Крик, шум, возня.

Из открытого окна этой избы вылетел какой-то предмет и - прямо под ноги Макарке. Глянул Макарка - книга. Да еще из школьной библиотеки, Макарка сразу книгу узнал по картинке на обложке. Там взъерошенный кот нарисован и дядька в летном шлеме. "Кот в самолете" книга называется.

Вслед за книгой мальчишка из окна вымахнул. Тутушный, хуторской. Со всем недавно он приходил в школу и просил Макаркиного отца, Ивана Семеновича, дать ему что-нибудь почитать. Макарка взглянул на подходившего

мальчишку, нахмурился, совсем как отец, и очень строго сказал:

- Молодой человек, книгами блосаться нехолошо.

Пашка Лукоянов (это был он) расстроено буркнул:

- Я не бросаюсь. Брательник у меня блажной. Он подобрал книгу, сдул с нее пыль, разгладил страницы и вдруг засмеялся.

- А я знаю, кто ты! Школьного директора сын. Здорово похож. Ты за коровками собрался?

- Не-е-е-ет! - протянул Макарка. - Я - за белыми глибами...

- Так это же и есть коровки! - опять засмеялся Пашка, показав полный рот ослепительных зубов

- Ой, какие у тебя зубы! - удивился Макарка. - Ты их чистишь? Да?

- А вот и не чищу! Это они у меня сроду такие. Брательник мой, тот чистит. А все равно они у него желтые. Ты вот что. Не ходи один в лес: заблудишься. Хочешь, я с тобой пойду? Я тут все места знаю. Погоди, я сейчас...

Пашка, сверкая босыми пятками, влез в окно, а через пять минут уже появился на крыльце с берестяным кузовком. Следом за ним шел еще один мальчуган, повыше ростом и толстощекий, с маленькими, глубоко посаженными глазками. Он нес корзину.

- А вот и брательник мой, - весело сказал Пашка Лукоянов.

- Ладно, чего там, айда, - хмуро пробасил брательник. С провожатыми Макарка не побоялся пойти не то что в молодой ельник, а и в большой лес. А лес, и вправду, был велик. Он начинался сразу за хутором и тянулся, может быть, километров на сорок, до самого Юрьевца.

Немало видал лес на веку. Сколько вынести пришлось ему! Сколько всяких бед: бурь, суховеев, пожаров, - не перечесть. А вот, поди ты, стоит лес, как ни в чем не бывало. Поет свою зеленую песню. Лапами в мягкий мох упирается. Голову под облака запрокинул.

Не всех людей любит лес. Да и за что всех-то любить? Вон кто-то молоденькую березку живьем на корню сжег. Обложил сучьями и подпалил... Березка умерла гордо, без крика. Вспыхнуло се зеленое платье факелом и поггло. Голову за такую пытку надо бы тому человеку рубить. Отомстит когда-нибудь ему лес, ох, отомстит! Заманит в самую чащобу, окружит болотами, сомкнет ветви наверху, захохочет филином - и поминай, как звали обидчика!

А так лес, он добрый. Звериную мелочь в норках приютит. Дроздов, щеглов да синиц себе за пазуху посадил. Ягоды по кочкам рассыпал. Ешьте все: и те, у кого две ноги, и те, у кого - четыре. Грибов всяких навывдумывал. На полянке маслят целую кучу собрал, под елочки рыжиков-пуговок насыпал, а под березками да соснами в мох посадил что-то прямо-таки необыкновенное: ножка у гриба сахарная, шляпка - шоколадная, бурая. И впрямь, этот гриб чем-то на коровку-буренку похож. Пасутся грибы-коровки стадами, ждут, когда пастух придет.

Вот так или примерно так всю дорогу рассказывал Пашка Лукоянов Макарке про родной лес. А Гузов Пашка все молчал. Только, когда про сожженную березку брат заговорил, не выдержал:

- Ну, вот, замолот!..

Пробасил эти три слова и вперед ушел.

Скоро начали попадаться грибы. Очень по-разному собирали их трое грибников.

Пашка Гузов лез за крупным грибом в самую чащу, жадно сопя и заранее шаря маленькими глазками, нет ли рядом еще подрастающих грибочков. При этом помалкивал, боясь, что спутники ему помешают собрать все грибное стадо.

Лукоянов никак не мог удержаться от восторгов. "Ах, ты, миленький!" - приговаривал он, осторожно обминая руками мох, чтоб лучше срезать грибок. Сделав это, он еще с полминуты любовался добычей и только тогда, прищелкнув языком, клал ее в кузовок.

Макарка то и дело зевал отличных коровок. Но, когда находил, обеими ручонками так и вцеплялся в находку, выламывая ее из земли с корешками.

Пашка Лукоянов даже присвистнул от удивления, увидев его старания:

- Разве так делают?

- А как?

- Во, смотри! - и Пашка чикнул маленьким перочинным ножичком аккуратный грибок. Только глубоко во мху белое пятнышко осталось.

- У меня ножа нет, - пробовал оправдаться Макарка.

- А ты у меня возьми. У меня - два. На! Хочешь, я его тебе насовсем подарю?

- Насовсе-е-ем? - протянул Макарка. Такой щедрости он не ожидал...

Пока вспоминал Макар про двух Пашек, зафырчало сзади: грузовик показался. Макар поспешил к мостику, что был впереди.

Надо вам сказать, что педучилищенские ребята - опытные люди! Макар - не исключение. Он знает, что шофер ни за что не будет машину ради него останавливать. Поэтому садиться в кузов надо на ходу. У мостов - большие вымоины-ямы. Водители всегда возле таких ям притормаживают. Тут и надо ловить момент. Обеими руками - за задний борт, одну ногу - на крюк для прицепа, вторую закидывай, как кавалерист при посадке. Борт оседлал - большая часть дела сделана. Надо только успеть до главного толчка в кузов перекинуться, а то на самом ухабе так может "посадить", что на всю жизнь калекой останешься.

Операция удалась. В углу кузова валялись мешки. Макар быстро пристроился на них, лицо от ветра тоже мешковиной прикрыл. И задремал, опять успев подумать: "Везет все-таки мне!"

Сон, что приснился в пути Макару, был тоже из детства. Приснилась ему родительская квартира в Могилевской школе. И будто бы сидит он. Макарка, у окна и смотрит на улицу. А на улице весь день с самого утра зарядил дождь.

Скучно Макарке. Отец в город уехал и увез Верочку домой. Только неделю она и погостила, А бабушка Марья не поехала: у нее поясницу, вишь ты, разломило. "Лучше бы наоборот, - размышляет Макарка. - Лучше бы пусть разломило поясницу у Верочки. Тогда бы отец увез бабушку".

На прощанье Макарка сплел для сестры новый веночек, из васильков. А потом долго стоял на дороге и смотрел, пока не скрылись за поворотом и лошадь Зорька, и отец, и телега с охапкой сена, и синие васильки на белых сестренкиных

кудряшках. И одно только чудно было. Над Макаркой тучи собрались, и дождик хлынул, а над телегой, на которой отец с Верочкой - солнце.

Ну, да ведь во сне и не такое бывает. Вот почему он у окошка один? Где мать? А-а, она, наверное, в Осиево ушла. Отец говорил ей:

-Я за краской для школьной крыши поехал, а ты. Катя, сходила бы в Осиево. Там ребята в первый класс не все записаны, а мне отчет делать.

Вот мать и ушла. Взяла зонтик и ушла за три километра "первоклашек переписывать". А Макарка сиди один? Что за жизнь такая?

Дождь за окном все льет и льет. Дрему нагоняет... "Ой, кто это на печи храпит? Ах, это бабушка! Полезу-ка к ней".

- Чего надо? - спросила его во сне бабушка и подняла голову, и Макарке чудно показалось, что веночек из васильков оказался вовсе не на Верочкиной голове, а на бабушкиной.

-Чего прилез? - переспросила бабушка.

-За сказкой.

Сказки Макарка любит и знает, что они бывают разными. У матери, например, сказки страшные - про бабу-ягу, про Кощея бессмертного, про козлиное копытце, из которого в самую жаркую жару пить нельзя.

Отец рассказывает про красных героев, которые храбро бились с белыми буржуями, про Чапаева, про Щорса. Кончается дело тем, что он берет гитару и, тихонечко пощипывая струны, поет:

Хлопцы, чьи вы будете?
Кто вас в бой ведет?
Кто под красным знаменем
Раненый идет?

У бабушки Марьи сказки свои, особенные, часто совершенно непонятные для Макарки.

-...И лил дождь сорок дней и сорок ночей, - нараспев тянет бабушка. - И сделался на земле всемирный потоп. Жил тогда у горы Арарат праведный Ной...

Макарка неожиданно прыскает в ладошку.

-...Жил праведный Ной, - строго повторяет бабушка, и васильки над ее головой поднимаются в воздух, и веночек превращается в золотистый кружочек, точно такой, какие бывают на иконах над ликами святых.

Но внука это чудо не поражает.

-Ной, он, навелное, много ныл, вот его так и плозвали, - фантазирует внук.

-Не ныл, а молился, - терпеливо поправляет бабушка. - И велел бог Ною построить ковчег и взять на него зверей разных: семь пар чистых и семь пар нечистых...

-Помыть их нельзя было что ли? - искренне удивляется Макарка. Последняя реплика почему-то выводит бабушку из себя.

-Нехристь! - взрывается она, хватая Макарку за воротник и начинает трясти. - Вот погоди, сведу я тебя к отцу Ануфрию да и окрещу! У-у-у-у!

Макар открывает глаза. Грузовик стоит. Шофер, стоя на колесе, перегнувшись через борт, трясет его за воротник:

- Эй, ты! Не замерз? Тебе куда ехать-то?

- До Марковицы...

Грузовик трогается. Макарка зябко ежится. Вернуться бы сейчас обратно в сон, на печку, на горячие кирпичи!

Приснится же такое! А наяву ведь и верно тогда его бабушка окрестила. Дело было так...

...После Петрова дня батюшка Ануфрий занемог. Причины для того были. На праздник он побывал в домах многих верующих и, видно, съел лишнего. И только, было, расположился святой отец отдохнуть в постели, как в сенях слышалось шарканье ног. Загремело опрокинутое пустое ведро. Ануфрий, уже лежавший с примочкой на лбу, застонал. Уж сколько раз он увещевал матушку Евпраксию ставить ведра на лавку. Так нет, опять оставила на дороге да сама же теперь и запнулась. Ахти, как голова разламывается! Кошка с печи спрыгнет - и то в висках отдаётся. А тут такой адский грохот!

- Евпраксия Игнатъевна, - слезливо позвал Ануфрий. Он всегда величал жену по имени-отчеству. И вообще вел себя с ней, как капризный ребенок, зная, что матушке это по-своему нравится.

- Евпраксия Игнатъевна, - повторил поп.

Однако на сей раз он ошибся. В дверях нерешительно топталась вовсе не попадья, а какая-то другая старуха. Из-за нее выглядывала курносая, любопытствующая рожица мальчишки.

- Можно, святой отец? - крестясь, нараспев осведомилась пришелица.

- погоди, раба божья... Ануфрий, кряхтя, встал, надел рясу, осенил дверь и стоящих на пороге крестным знаменем и пригласил гостей пройти и сесть.

- Вижу, ты не нашего прихода, - начал поп, внимательно разглядывая собеседницу. - А мальчика этого я где-то видел. Чей?

- Ивана Семеновича Груздева сын, - ответствовала бабушка Марья. - Некрещеный он. Так вот хочет быть, как все православные.

- Благостны дела твои, господи! - оборотясь в половину к иконам, сказал отец Ануфрий. - Хорошо, что вы сегодня пришли. Расстригаюсь в скорости я. И церковь замкнул. Однако пока еще пребываю в сане. Книгу церковную с собою взял. Вот, стало быть, и - с Богом...

Поп вдруг замаялся. Он вспомнил о купели. По правилам крестить полагается не в какой попало посуде. Однако, это полбеда: обычное ведро освятить можно. Но еще полагается крестный отец. За мать крестную будет эта старуха. А вот где мужеского пола человека взять? И тут отец Ануфрий увидел кого-то на улице.

Ваня-Тряпочник всегда был доволен судьбой. Никто в деревне никогда не видел его плачущим. Даже, когда мальчишки кидали в него камнями и попадали в голову, и тогда он только потирал ушибленное и удивленно улыбался. Это мгновенно охлаждало пыл обидчиков, начисто их обезоруживая.

Тряпочником Ваню прозвали по простой причине. Придя в избу, Ваня молча крестился и замирал у порога с блаженной улыбкой.

- Чего тебе? - спрашивала хозяйка,

- Хлебца! - тянул Ваня.

В деревне знали, что хлебцем Ваня называет любую еду. Если ему давали

вареную картошину, или огурец, или наливали плошку похлебки, нищий съедал угощение, говорил "спасибо" и уходил из избы.

Если хозяйка разводила руками и говорила, что "хлебца Бог подаст", Ваня отвечал:

- Ну, тряпочку!

И опять все догадывались, что под тряпочкой побирушка подразумевал что-либо из старой одежки. Иногда ему дарили старенькую рубашку или заплатанные портки. Но чаще какая-нибудь скупая баба делала вид, что поняла Ваню в прямом смысле, и выносила к порогу маленькую цветную тряпочку. Ваня принимал и это подношение. Вытащив невесть откуда иголку с ниткой, он тут же и пришивал лоскуток к своей одежде и только тогда уходил.

Он шел по деревне, увешанный с ног до головы ситцевыми, батистовыми и сатиновыми лоскутками, неся их на себе как знаки человеческой скупости и черствости.

Если встречные расспрашивали Ваню о том, кто дает ему тряпочки, он выказывал удивительную память и с простодушием растолковывал, как и при каких обстоятельствах появился у него тот или иной лоскуток. Из этих его рассказов односельчане узнавали друг о друге такие подробности, что потом долго чесали языками по адресу ближних.

Больше всего почему-то эти сплетни задевали попадью Евпраксию, женщину прижимистую и неприветливую. От нее Ваня всегда выходил с новой нашивкой.

Он скалил зубы и радостно докладывал сельчанам:

- Я скоро совсем святой буду. Попадья уж всю старую рясу батюшкину мне по кусочкам передавала... Гы-гы-гы!..

Родись Ваня в другую эпоху, он, может быть, был бы придворным шутком, а не нищим. Иногда он произносил такие слова, от которых деревенские мужики поскребывали в затылках и перемигивались, как бы говоря: "Эге, а он совсем не глуп!"

В тот день Ваня-Тряпочник появился в деревне после долгого отсутствия. Только что прошел дождь, и побирушка выглядел куда как плачевно. Тряпочки, которыми были увешаны его рубаха и штаны, вымокли, свалялись и стали похожими на маленькие кукиши. Таким и узрел его отец Ануфрий из окна. "Вот тебе, господи, и мужеский пол, - подумал поп. - Дурак, ну и что же? Перед Богом все равны..."

В следующую секунду он высунулся из окна:

- Ваня! Блаженный!

Нищий остановился.

- Поди сюда, - позвал поп.

Ваня подошел к окну, не выразив при этом удивления. Казалось, он заранее знал, что понадобится...

Грузовик так тряхнуло, что Макара откинуло от кабины на середину кузова. Он изрядно ушиб спину, но не это привело его в смятение. Драгоценная котомка

Макара подпрыгнула на ухабе и перелетела через боковой борт в сумет. Прощайте, хлебные пайки!

Макар что есть силы забарабанил кулаками по крыше кабины. Шофер не сразу, но затормозил. Высунулся из кабины, спросил: "Что стряслось?" - "Подождите, я котомку подберу: вылетела", - объяснил Макар. "Вы-ы-ылетела-а, - передразнил шофер. - Держать надо как следует". Однако не только остановился, но сам сходил до сумета и подобрал котомку.

Макар принял это благодеяние, пристроился на сей раз лицом по ходу машины и стал смотреть на приближающиеся дома Марковицы. Вот промелькнула Марковицкая участковая больница. Здесь еще недавно работал фельдшером друг Макарова отца Александр Васильевич Суконцев. Теперь он тоже на войне. Отец писал с фронта, что встретил его на одном эвакуационном пункте. Хоть и коротка была встреча, а принесла обоим много радости. Раньше Макар думал, что такие встречи придумывают писатели в книгах, а на самом деле так не бывает. Оказывается, бывает. "Интересно, а не встречал ли отец на фронте Живейнова?"

Фамилия "Живейнов" выплыла откуда-то так некстати, что Макар даже поморщился. Вот ведь всегда к светлому черное присоседится! Но с памятью ничего не поделаешь. Она услужливо подсунула Макару и это невеселое воспоминание...

...Вечером, уже засыпая, Макарка услышал в школьном дворе стук колес, потом шаги на крыльце и голос отца.

- Гланя! - позвал он еще с порога школьную техничку.

- Бегу, бегу! - отозвалась та откуда-то из школьного коридора. - Бегу, Иван Семенович!

Пока Гланя размеренной походкой, вразвалочку, шествовала из школьного помещения в квартиру директора (это у нее называлось "бежать"). Иван Семенович успел чмокнуть вылетевшую в сени жену.

- Здравствуй, Катя, - озабоченно сказал он. - Вот, знакомься: это товарищ Живейнов, инспектор районо. - И он приглашающе распахнул дверь перед человеком, идущим сзади с большим коричневым портфелем. Приезжий шагнул в светлый проем двери и недовольно прикрыл сухой желтой ладонью свои роговые очки, щурясь из-под них на яркий свет десятилинейной лампы.

В такой позе и застала его полная, розовощекая Гланя, выплывшая из других дверей. По сравнению с ней Живейнов выглядел, как карандаш рядом с увесистым пресс-папье. Все это успел заметить выглянувший из своей комнатки Макарка, тут же утащенный за рубашонку бабушкой Марьей обратно в постель.

А Макаркин отец тем временем продолжал:

- Это - Гланя, техническая наша... Вот что, Гланя, товарищ Живейнов устал с дороги. Ему надо отдохнуть. А тут у нас тесновато, да и неудобно. Так ты проводи-ка гостя к себе домой. У твоей матери ведь нет сейчас постояльцев? Вот и хорошо! Это тут, метрах в ста отсюда, - пояснил отец товарищу Живейнову. - Гланя, поторопись, пожалуйста

- А кто печи кутать будет? Пушкин? Али Грибоедов? - шутливо возразила Гланя, оборотившись к портретам писателей, висевшим в глубине полуосве-

щенного коридора.

- Ладно, ладно, я вьюшки сам закрою. Не мороз, поди... - махнул рукой Груздев. - Контрольная топка, - пояснил он инспектору.

Когда ночного гостя увели, отец повеселел. Он даже частушку спел:

Что, товарищ мой, не весел?
Что качаешь головой?
Не одна ли путь-дороженька,
Товарищ, нам с тобой?

И шагнул в Макаркину спальню.

- Как поживает Макар Иванович? - спросил он, ероша в темноте волосы лежавшего в постели сына. - Ладно, спи, спи... Завтра поговорим. Спокойной ночи.

Макарке страшно захотелось остановить отца и рассказать ему сейчас, а не завтра, про все, про все. И про то, как дождь шел, и про бабушкину сказку, а главное - про крестины у попа Ануфрия. Это было так необычно - стоять голышом перед ведром с водой и слушать, как поп громко и торжественно говорит какие-то непонятные слова, а сам мажет чем-то Макарке лоб, ладони и стопы, брызгает на него из ведра, вешая потом на шею "рабу Божьему" холодный маленький крестик на шелковом шнурке. Вот он и сейчас у Макарки под рубашкой, этот крестик! Надо бы показать папке. Но папка ушел. Он сидит в соседней комнате, за столом, покрытым той самой обгрызенной скатертью, с аппетитом уплетает разогретые матерью щи и вполголоса говорит о товарище Живейнове, которого он привез из города вместо краски...

На другой день в школе была комиссия. Отец перед зеркалом наряжался, как на праздник. Мать встречала гостей. Пришли дядя Иван Петухов, сельсоветовский председатель, да деревенский усатый плотник Архип, "посол от родительского комитета", как он выразился. Они шумно поздоровались со всеми за руку. Плотник успел при этом ущипнуть Гланю-техничку. А дядя Иван Петухов как раз делал Макарке "козу", когда на пороге появился сам товарищ Живейнов.

Веселье как ветром сдуло. Инспектор районо церемонно кивнул головой мужчинам, приложился к руке Макаркиной мамы, так при этом согнувшись пополам, что стал чем-то похож на богомола, нарисованного в книге "Жизнь насекомых", лежавшей у отца в библиотеке.

- Если все в сборе, то, я полагаю, можно начать осмотр школы, - ни к кому не обращаясь, изрек Живейнов. - Ведите!

Последнее слово, очевидно, было адресовано отцу Макарки.

Комиссия направилась в школьный коридор, начинавшийся тут же, у директорской квартиры. Макарка не преминул шмыгнуть за взрослыми. Он старался держаться поближе к дяде Ване Петухову, которого знал давно и любил за приветливый характер, и наоборот - подальше от товарища Живейнова, поглядывая на него исподлобья.

Все в школе блестело, готовое к новому учебному году: чистые окна, выбеленные печи, ряды новеньких, недавно покрашенных парт. Гланя расстаралась

и вымыла полы с толченым кирпичом, отчего они отливали приятной желтизной. На половицы было боязно ступить. Однако товарищ Живейнов смело шагнул по коридору и классам, оставляя на полу серые следы. Вездесущая Гланя ухитрилась тут же затирать их.

В самом дальнем углу коридора, возле уборных, инспектор остановился, полез в карман и вытащил белый носовой платок. "Сейчас чихнет!" - подумал Макарка. Но Живейнов вдруг начал платочком протирать пазы бревенчатой стены. Потом он осторожно вынес платок к окну, исследовал его на свету и, не повернув головы, проговорил:

- Обращаю внимание комиссии на то, что школа к учебному году не готова. В школе - грязь и пыль!

Гланя даже поперхнулась от такого заявления, дядя Ваня Петухов крикнул, а плотник закрутил головой. Иван Семенович, бледный, твердо сжав губы, смотрел прямо в глаза Живейнову.

Воцарилось молчание. Кто его знает, сколько бы это молчание продлилось, если бы не Макарка. Дрожащим голосом, полным обиды за отца, и за такую нарядную школу, и за Гланю, которая стояла растерянная, уронив тряпку, и вообще за всех добрых, хороших людей, он вдруг спросил:

- Товарищ Живейнов, вы жандарм?

Все так и опешили. А инспектор еще более вытянулся и с минуту походил на тонкую суковатую жердь.

- Кто это? Что он сказал?

Живейнов шагнул к малышу и схватил его цепкими пальцами за подбородок. Макарка не на шутку испугался. Он уже не рад был сказанному. Но этот сухой человек с желто-бледным лицом так был похож на делавшего обыск жандарма в немой кинокартине, которую недавно показывали в избе-читальне, что Макарка и сам не знал, как у него вырвались такие слова.

- Кто тебя научил, мальчик?

Макарка молчал. И тут Живейнов увидел что-то и полез длинными холодными пальцами за Макаркин ворот. Через секунду он уже извлек из-под рубахи мальчика злополучный крестик и поднес его к самым очкам.

- Это еще что значит? - сказал он и зловеще обвел всех роговой оправой.

Иван Семенович побледнел еще больше. Но в следующее же мгновение он стремительно подошел к Живейнову.

- Перед вами - мой сын. Как к нему попало это, - Иван Семенович, сглотнув слюну, кивнул на шнурок с крестиком, - я пока не знаю. А вас... вас я прошу отсюда... позвольте вам отсюда выйти вон!..

...Остаток дня Макарка провел тихо, как мышка, в своей комнате. Сразу же после скандала в школьном коридоре уехала бабушка Марья. Перед этим отец и мать о чем-то говорили с ней за закрытыми дверями. Разговор был такой тихий, что Макарка ничего не понял. Только один раз голоса повысились, и из-за дверей долетели бабушкины обиженные слова.

- Хотела помочь вам. Думала, как лучше. Ну, коли так, живите, как хотите.

-Это не помощь, Мария Яковлевна, - отвечал отец. — Это не помощь!

В тот же день бабушка уехала Она гордо пронесла до самого порога свой узелок и поджатые губы, но у дверей все-таки обернулась:

- Не поминайте лихом! - и старательно закрыла за собой дверь.

Макарка поглядел на родителей. Мать стояла у окна и тихо плакала.

Отец долго ходил по комнате из угла в угол, заложив за спину руки.

Второй раз в жизни видел Макарка родителей такими. Первый раз это было три года назад, когда умерла Дина, пятилетняя сестра Макарки. Это сейчас он понимает, что такое "умерла". А тогда не понимал и все дергал за подол окаменевшую от горя мать и твердил: "Диночка спит? Она спит? Почему она не встанет?" А отец, приехавший с рабфака по телеграмме, долго стоял на коленях перед гробиком, обхватив его руками. А потом все мерил вот так же комнату шагами, а на скулах у него вздувались белые желваки.

Но тогда было горе. "А какое горе сейчас? - рассуждал сам с собой Макарка. - Сейчас радость получилась. Папка сильный. Он выгнал этого злого дядьку Живейнова. И правильно сделал. Песни надо петь, а не горевать..."

Но какое-то непонятное чувство давило мальчика, подсказывая, что над отцом и матерью, над школой и над самим Макаркою нависла какая-то неожиданная-негаданная беда.

Было уже темно. За окошком опять хлюпал дождь. Макарка лежал в постели с широко раскрытыми глазами и все думал, что же это такое случилось.

В Макаркиной голове от всего происшедшего был какой-то шурум-бурум. "Еще вчера все было распрекрасно, а сегодня - пожалуйста! Надо же людям столько друг другу навредить! Расстроена Гланя, раздосадованная уехала бабушка, в плохом настроении ушли плотник Архип и дядя Ваня Петухов. Разгневанным удалился на дорогу и там сел на попутку товарищ Живейнов. Об отце с матерью уж и говорить не приходится... А с чего началось? С Живейнова. Кто он такой? Начальство. Но ведь и начальство бывает разным. Вон дядя Ваня Петухов. Он кто? Он - советская власть! И он добрый. "Великодушный", как говорит мама. Власть всегда должна быть великодушная. И не должна считать, что она лучше других. Это еще доказать надо, что ты лучше. А Живейнов решил, что "все остальные пешки, а он ферзь". Так говорит папа. И Макарка тоже хорош, ляпнул про жандарма... А может, это крестик во всем виноват? Но как может быть виноват кусочек металла?..

А вскоре случилось вот что.

...Мать каждые полчаса подбегала к окну и смотрела, на дороге, не едет ли отец. Но дорога была пустынной. Пропылила только мимо школы полуторка. Да плотник Архип протрусил откуда-то верхом на лошаденке. Обычно он всегда заглядывая по пути к Груздевым, а тут что-то мимо проехал. И опять на дороге - никого.

Наконец, под вечер показалась вдали знакомая лошадь Зорька. Шла она шагом, понуро. И у матери упало сердце: с плохими вестями едет Иван Семенович. Она не выдержала и побежала встречать мужа за ворота.

Через пять минут отец вводил ее под руки, бледную. Уложил на постель и кинулся к комоду за нашатырем.

Мать пришла в себя, открыла глаза и, молча, глазами спрашивала отца о

чем-то.

- Ничего, Катя. Ничего. С партией меня никто не разлучит... Ничего. Жизнь продолжается!

И он гордо поднял голову. Уже после Макар узнал, что отца в райкоме исключили из партии из-за того крестика. И еще знал Макарка, что партбилет он так и не отдал, несмотря на неоднократные требования райкома, каждый месяц приносил в сельсовет секретарю ячейки членские взносы. Тот не брал денег, но Груздев всякий раз оставлял их на столе и уходил. А еще отец подал "апелляцию" в Центральный Комитет. Но вот успел или нет получить отец ответ из Москвы, этого Макарка не знал. "Уж не об этом ли хотел сказать папка мне, когда садился на телегу перед уездом на фронт?"

Грузовик одолел-таки Марковицкуло гору. Вот и здание бывшей церкви. Теперь тут — клуб. От прихода попа Ануфрия ничего не осталось. И сам священник пропал куда-то, как в воду канул.

Да, много всяких перемен произошло в родном сельсовете. И хутора Мостовки нету. Как корова языком слизнула. Впрочем, из хуторян, если кого Макару и жаль по-настоящему, так это Пашку Лукоянова. А все остальные там какие-то выжиги были. Или, может, это в Макаре говорят детские обиды?

...Первая обида была из-за кота Кузьки. Очень странные повадки были у этого кота. Ел он все, что под лапу попадет. Один раз даже малосольный огурец слопал.

А все отчего? Старые хозяева с хутора морили Кузьку голодом. Оттого вырос кот вором. Все мясное приходилось от него прятать. И прятали. А есть вовсе ничего не давали. Что Кузьке делать? Летом еще на хуторских угодах мышку-полевку можно было сцапать или пичужку какую глупую. А зимой? Поневоле приходилось питаться отбросами.

Зато весной у Кузьки начинался пир. С началом теплых дней уходил он в лес. Никто никогда бы не догадался, зачем нужен ему этот лес, если бы не Макарка. Он к тому времени уже привадил Кузьку к школьному двору всякими подачками. И вот теперь первый заметил, что Кузька возвращался из леса не пустой, а с какой-то добычей, не шел сразу домой, а забегал сначала за поленницу. Заглянул раз туда Макарка и удивился. Лежат за поленницей какие-то пушистые палочки. Аккуратно кучкой сложены.

Позвал Макарка отца. Тот подошел - тоже сначала ничего не понял. Наклонился поближе и ахнул: лежат на земле беличьи хвостики. Подумать только: вот, значит, за чем Кузька в лес ходит!

Но в тот день Кузьке не то что белку - самую неповоротливую мышшь не поймать было. Лежал он на печи и стонал, как человек. Макарка возле кота пристроился, гладил Кузьку осторожно по голове.

Входная дверь хлопнула. Пришла соседка с хутора попросить соли. Звали ее Аграфеной. Это была мачеха Пашки Лукоянова и мать Пашки Гузова. Увидел ее Кузька, сразу стонать перестал, взъерошился. Мать соль в банке Аграфене подавала, а Кузька как завоет нехорошим голосом да как прыгнет с печи на

прежнюю хозяйку. Откуда и силы взялись. В лицо норвил вцепиться, промахнулся и повис на кофте. А Аграфена и банку с солью уронила.

солью уронила. Еле отодрала от себя Кузьку и опроретью - в двери.

- Надо Кузьку утопить, - сказала мать отцу вечером. - Он, наверное, чумовой. На людей стал кидаться...

Мать думала, что Макарка уснул, а он не спал и все слышал. Он потрогал под одеялом задремавшего Кузьку и тихонько прошептал:

"Не бойся, Кузенька, не дам я тебя утопить".

А утром все прояснилось. Зашел Пашка Лукоянов и начал рассказывать, как прибежала вчера мачеха в изодранной кофте и все ругала кота, жалея, что совсем его не убила.

Дело в том, что забрался Кузька к ним в дом и по старой привычке слизал сметану. За этим преступлением и застала его Аграфена. Взяла железную кочергу и начала кота дубасить. Тот - под кровать. Она и там его домаяла. Еле Кузька ноги унес, в форточку догадался выпрыгнуть.

С того и захворал кот. А когда увидел обидчицу - кинулся на нее с печи, чтоб отомстить за железную кочергу. И вовсе он никакой не чумовой!

А вторая обида была на речке Вертушке. Речка эта названа так за свой нор. Бежит она по лесу, петляет, по камешкам прыгает, а на омутах воронки из воды крутит. Конечно, Вертушка!

Макар, как сейчас, видит: вот идет он, маленький, по берегу Вертушки и стих наизусть декламирует:

Клим Ворошилову Письмо я написал:

"Товарищ Ворошилов,
Народный комиссар!.."

Большое событие произошло. Букву "р" Макарка научился правильно выговаривать. Это, оказывается, очень просто. Надо только кончик языка чуть-чуть кверху поднять.

"Товар-р-рищ Вор-р-рошилов, нар-р-родный комиссар-р-р! ...В Кр-р-расную Ар-р-рмию бр-р-рат мой идет..." - рычит с удовольствием Макарка.

Из кустов Пашка Гузов выскочил, руками машет:

- Тише ты!

- Почему тише? - возражает Макарка.

- Мне щуренок поймать надо. У меня тут сетка, а ты орешь. Вот лучше помог бы. Их тут два. Одного я тебе отдам.

Макарке хочется получить щуренка.

- Как помогать надо? - спрашивает он.

- Иди вон к тому камню, залезай в воду и валяй прямо по воде сюда ко мне. Сильней шуми и шлепай. Пускай щуренок побежит от тебя и прямо - в сетку.

Макарка так и сделал. И ведь верно. Не успел он до небольшого тинистого бочажка дошлепать, как в том бочажке что-то сильно плеснуло, и тут же мальчик увидел, как над светлыми камешками вниз по течению метнулась темная стрела; а через секунду Пашка Гузов сидел верхом на сетке, в которой билась небольшая щука.

Пашка выпростал щуренка, стукнул его по голове подвернувшимся под

руку камнем, чтоб затих, и начат свертывать сетку.

- Паша, мы еще второго щуренка поймать должны, - робко напомнил Макарка.

- Второй убежал, - буркнул Гузов.

- А как же я? Ты же обещал?

- Ну и что ж. В друтой раз.

Но Макарка отчетливо понял, что его обманули, что щуренок с самого начата был один, что другого раза не будет. Он приблизился к Пашке и, сощуриив глаза, сказал:

- Паша, это не честно.

- Что не честно?! - ощерился тот. - А сетка чья? Моя! Ну, и рыба моя. Понял?

- По-о-онял, - протянул Макарка. - Ты, Пашка, жила!.. Ты - буржуй, вот ты кто есть!

- Что? - исподлобья взглянул Пашка. - Ты еще стишки почитай. - Он сплюнул в воду. - Про Климку Ворошилова..

- Не про Климку, а про Клима. Он с Красной Армией таких, как ты, бил.

- Иди ты со своей Красной Армией, - зло прошипел Пашка. - Вот немцы придут и разобьют твою Красную Армию...

Макарка вздрогнул. Он даже не поверил услышанному. Первым его желанием было броситься на Пашку и нос ему набить. Но вдруг он увидел его желтые зубы. И еще уши, из которых все время сочилось что-то. И маленькие глазки, как у поросенка. И почему-то ничего больше не сказал Макарка. Он повернулся и ушел. Ушел от этого "гнилого буржуя" Пашки, чтобы больше никогда не иметь с ним никакого дела.

Вырезал себе Макарка саблю. Впрочем, это и не сабля никакая. Так себе, тальниковая ветка. Ободрал с нее Макарка кору, и стала она белая-белая. Хорошо такой веткой крапиву и разные лопухи рубить. Раз - и полетела голова у репейника! Два - и куста крапивы как не бывало. Вприпрыжку несется Макарка со своей "саблей" и раздает удары направо и налево. И кажется ему, что он лихой красноармеец-буденовец, а вокруг - вражеское войско. "Ура!" - кричит Макарка и весь в репейниках выскакивает из лесного оврага на опушку. И носом к носу встречается с Пашкой Лукояновым.

- А, это ты, Макарка? - улыбается Пашка. Но вид у него невеселый. И улыбка получилась печальная.

Однако, Макарке нет до этого никакого дела. Он на весь хутор Мостовку в обиде, раз там есть такие люди, которые про Красную Армию языками треплют. И потому достает он из кармана ножик, тот самый, дареный, протягивает его Пашке и говорит:

- Возьми. Мне его не нужно. И ничего мне от вас не нужно.

Пашка медленно берет складешок, подбрасывает его на ладошке.

- Эх, - вздыхает он. - Лучше бы ты меня им ударил. Прощаться ведь я к тебе шел. Ну, ладно! Будь здоров, Макарка. Уезжаем мы. Может, и не встретимся. А только так скажу: плохой ты, человек, Макарка...

И пошел, играя ножиком, втыкая его с размаху в землю, вытаскивая и снова втыкая. И ни разу не оглянулся.

- Мама, я плохой?.. - спросил вечером Макарка.

- Что с тобой сынок?

Мать удивлена. Таких вопросов сын ей еще никогда не задавал.

-Так, ничего, - отворачивается сын. - Мне один мальчик сказал, что я плохой человек.

Отец глаза от газеты оторвал, прислушался к разговору, спросил полунасмешливо-полусерьезно:

- Это что же за мальчик осмелился критиковать моего сына?

- Паша Лукоянов...

-Ох, ты господи! - всплеснула руками мать. - Нашел, кого слушать. Да московские теперь на весь свет злы. Предложили им переехать с хутора в деревню. Вишь, хутор посреди колхозного поля расположился. Ни то, ни се. Ну, и сказали им: хватит жить на отшибе, одинолично. Селитесь в деревне, как все. Ссуду на перенос дома им выделили. Так Яков Лукоянов заявил: "Ссуду давайте, а в Могилеве вашем я жить не буду. Уеду в город, на завод устроюсь, не пропаду..."

-Да, подтвердил отец. - Вот и в газете написано: "Особенно сопротивлялись последнему постановлению такие одиноличники, как Иван Шемяков, Яков Лукоянов, а жена последнего, Аграфена, даже замахнулась кочергой на уполномоченного, пришедшего объявить о ликвидации хутора Мостовки и передаче хуторских земель колхозу "Большевик"..."

-А знаешь, папа, что сказал мне Пашка Гузов? Он сказал, что придет немцы и разобьют Красную Армию... Почему он так?

Отец взъерошил голову сына.

-Эх, Макар, Макар! Мал ты еще понимать... А войной с немцами действительно пахнет... И всякая гниль это тоже учуяла.

Нет, не успокоил Макарку разговор с родителями. У них, у взрослых, все просто: раз хуторских выселяют, значит все там не люди что ли? А Паша Лукоянов? К Макарке, другу своему, прощаться шел. А друг? Нос выше елки задрал... Какое ему дело до чужого!.. Из-за щуренка несчастного, про которого Паша и знать ничего не знает... Из-за гнилого Пашки Гузова потерял Макарка хорошего друга. Теперь о нем Лукоянов думает: "Ясное дело - беда навалилась, единственный друг - сразу в кусты. Ножичек даже отдал!" - "Лучше бы ты меня им ударил!.." Уехал Паша вместе со всеми в город... надо бы адрес узнать как-то... письмо написать, объяснить все... "Плохой ты человек, Макарка..."

Чего сидишь? Приехали... - сердито сказал шофер, выйдя из кабины. Макар выбрался из кузова.

-Спасибо...

-А платить?

Макар развел руками. "Не отдавать же последнюю двадцатку? А потом маме не на что лекарства будет купить".

Шофер хотел на прощанье дать подзатыльника, но Макар увернулся. Пошел к деревенской околице. Пошел и опять думал: "Поди-ка разберись в людях... Вот

и этот шофер... То котомку сам подобрал из сугроба, а то так драться лезет..."

Дальше до Могилева Макару надо было двигаться по тропке, через снежное поле. ... Ой, ты, тропка полевая! Летом ли, утонувшая во ржи и ячменях; осенью ли, черной лентой вьющаяся по желтой стерне; весной ли, перепаханная и снова утоптанная великой армией прохожих, - всегда ты хороша. Хороша ты и пере-метенная поземкой, кое-где вильнувшая в сторону от провалившегося глубоко в снег ошибочного следа (шел человек ночью, да, может, навеселе), ершистая и скрипучая в мороз, гладкая и скользкая, как сейчас, в оттепель. Не сравнится с тобой, тропка, ни проселочная дорога, ни тракт прямоезжий, ни магистраль асфальтовая. Потому, что ведешь ты, тропка, к родному порогу!

Одно плохо - у самой деревни Могилсво тропка полезла круто в горку. А горка до того укатана, что взойти на нее можно только с величайшим усилием. И уж, конечно, не в таких калошах, какие у Макара, с гладкой, выношенной подошвой. Три раза поднимался почти до самого верха парень и три раза скатывался обратно. Делать нечего, пришлось снимать калоши и топтать по сырому снегу и льду в валенках, у которых от подошв осталось одно название. На горе, возле дома, где жила Ельтипифоровна, Макар остановился, чтоб снова обуться в "волшебные мокроступы". Он сначала не понял, о чем голосит старая Ельтипифоровна. Увидев с крыльца Макара, бабка запела жалобно:

- Али идешь, сиротинушка? Али к родимой матушке горе мыкать?

Макар насторожился. "Видно, мама сильно заболела", - пришла первая мысль.

- Баба Ньюра! А что, мама шибко хворает? Что с ней?

- Дитяtko неразумное! Про што баешь-спрашиваешь? Не о мамке надо спрашивать. Где у тебя тятенька? Где сокол Иван Семенович?

Макар глянул широко раскрытыми глазами на Ельтипифоровну.

"Что несет старуха? Как "где тятенька?" На фронте, конечно. В Польше. Возле города Сулеюва. Письмо на той неделе было..."

Бабка, заметив недоумение Макара, брякнула:

- Али не ведаешь? Пришла на Ивана Семеновича похоронная...

"Похоронная". Страшное слово, как проклятие. В который раз звучало оно над живыми, это непереносимо длинное, шепотом, с нехорошим придыхом говоримое слово, - и переставали смеяться дети, дикий звериный стон издавали жены, каменели матери, падали на колени старики, цепенел, кажется, весь мир...

У Макара задрожали ноги и стало неловко в горле, в груди, талый снег поплыл перед глазами. Глянул он на крыльцо, где Ельтипифоровна, а там уже - никого...

По деревне шел, сжавшись. Ему казалось, что из всех окон смотрят на него сельчане и жалеют. Порог бабки Ульяны, где квартировала мать, показался ему старым, как мир. Вот отца нет, а этот выщербленный, треснувший по диагонали порог еще держит на себе косяки.

У двери Макар помедлил. Отчаянная надежда затеплилась на доньшке сердца. "Старая Ельтипифоровна из ума выжила, болтает, сама не знает, чего..."

Ну, конечно! Вот он открывает дверь и тихонько заглядывает в избу. Все правильно. Бабушка Ульяна и мать сидят у стола в передней и тихо разговари-

вают. Они не убиваются, не рвут на себе волосы. Значит, наврала безумная карга. Значит, ошибка. Перепутала всё старушечья.

Мама через силу улыбается. "Почему улыбка такая кривая, вымученная? Ах, да это от болезни..."

-Макарушка пришел. Здравствуй, сынок. Раздевайся...

Она улыбается! Раз не лежит, значит, не больная? Зачем же она его вызвала?

Зачем зеркало в передней завешено?

- Пойдем, я тебе полью водички... Умойся с дороги, - говорит мать дрожащим голосом. Она еще не знает, что сыну уже сказали горькую весть. Она хочет оттянуть страшную минуту признания...

Они выходят в сени. Мать зачерпывает ковшом из ведра воду и уже потом спрашивает наклонившегося над тазиком и сложившего руки лодочкой сына:

-Ты, Макарушка, чего-нибудь слышал?

-Слы-ышал...

Его душат подступившие к горлу комья.

Мать обнимает сына за худые плечи.

- Нету у нас папы, Макарушка...

Они долго стоят, обнявшись, в холодных сенях, окаменевшие от горя. И нет у них слез. И только тоненькая струйка воды из ковшика, что держит в руке мать, потихоньку' звенит о цинковый таз.

Потом Макар обнимает мать и ведет ее в избу осторожно, но твердо, совсем, как отец. Ведет и говорит:

- Я буду с тобой всегда рядом... Я оставлю педучилище. Я в колхозе пахать буду. Мама, слышишь?..

Он не преувеличивает, когда говорит это. Он еще не знает, что быть рядом с матерью ему не даст жизнь. Но он верит в то, что говорит. А насчет пахоты это точно: он умеет пахать. Вот, хоть и сын учительницы, а умеет. Он даже помнит, как впервые взялся за плуг. Как раз тогда Верочка приехала...

...Верочка приехала тогда одна, без бабушки. Макарка так обрадовался, что все отошло на второй план. Даже - проводы отца на фронт. Но, странное дело, он никак не мог придумать, чем занять гостью. Стояла ненастная осень. Цветы в лугах были давно скошены, по лесам свистел ветер, гнавший тучи. Грибы и те уже не росли.

Верочка за последнее время заметно вытянулась, посерьезнела, похудела. У нее отца тоже взяли на фронт, а мать уехала с клюквой в Кинешму, упросив Макаркину маму приютить племянницу на несколько дней.

Макарка привел Верочку в рощу, за которой началось поле. Его в то лето не засеяли, оставив под зябь, и теперь кто-то в красной рубашке пахал землю, торопясь успеть до первого снега.

Лошаденка шла по полю натужно. Маленькая фигурка пахаря, явно подростка, старательно горбилась над плугом, но дело подвигалось не ходко. Приблизившись к Макарке и Верочке, пахарь поднял потное лицо со слипшимися над лбом волосами, и Макарка даже вскрикнул от неожиданности.

Пахарь улыбнулся. Улыбка была усталой, но доброй, а главное - такой знакомой. Паша Лукоянов (это был он) занес плуг для новой борозды, но тпрукнул лошадь и выпрямился, утеревшись кумачовым рукавом.

-Паша? - еще не веря своим глазам, спросил Макарка. Он повернул к Вере счастливое лицо и, перебивая слова смехом, добавил: - Вера, ха-ха, это - Паша, ха-ха-ха, это - Паша, ха-ха-ха, это же, ха-ха, друг мой Вера, ты видишь?.. Ой, откуда ты, Паша? Разве ты не уехал?..

-А я сбежал, - просто объяснил Паша. - Понимаешь, сбежал. Не поехал я с ними. Пришел в сельсовет и сказал, что не поеду я с мачехой и гнилым брательником никуда. Лучше я день и ночь тут работать буду. Мне уже семнадцать. В комсомол хочу. А меня не берут. Говорят: сын перерожденца. А только я докажу им, вот! - он обвел взглядом поле. И взгляд этот немного потух, потому что вспаханной земли было много, а неспаханной - еще больше.

-Паша! Давай я тебе помогу. Ты отдохни, Паша! - горячо заторопился Макарка. - Давай я попробую, - уже не так уверенно закончил он.

-Ну, попробуй!

Макарка схватился за ручки плуга и сказал: "Но!" И тут получилось нечто странное. Лошадь дернула. Плуг вывернулся из земли и неуклюже запрыгал по борозде, пока не завалился. А вслед за ним растянулся на свежей пахоте и Макарка. Он, красный от смущения, поднялся и снова взялся за плуг, наставив его на верный путь.

Теперь получилось. Правда, борозда немного кривилась. И очень уж медленно вспарывал лемех коричневый пласт, который нехотя подчинялся отвалу, ложась на сторону.

Макарка упирался обеими ногами в мягкие комья. С первых шагов он страшно запыхался, и вдруг почувствовал, что плуг пошел легче, "Паша помогает!" - благодарно подумал он.

Каково же было удивление Макарки, когда перед глазами мелькнул рукав Вериного платья. Девочка шла с ним рядом, изо всех сил стараясь не давать плугу выписывать зигзаги. Макарка перенес обе руки на левую рукоять, а Верочка налегла на правую. Так они и пошли рядом, толкаясь, немного мешая друг другу, пока не приладились, не слили усилия в одно.

Когда пара новоявленных пахарей вернулась на исходную точку для следующего круга, Паша Лукоянов ласково остановил их:

- Жидковаты вы еще пока.

Потом, помолчав, добавил:

- А борозда у вас получилась. Вера - молодчина, даром, что девчонка. Да и ты, Макарка... В общем, получится у тебя... у вас...

Паша Лукоянов налег на поручни и повел новую борозду. На середине поля на него налетел порыв ветра и надул его красную рубаху пузырем, отчего вся фигура юного пахаря стала внушительней, мужественней...

Посылка пришла нежданно-негаданно. Зашитая в крепкую мешковину, она смутила Макара обратным адресом. Химическим карандашом и совсем незнакомым почерком на ней было написано: "Полевая почта" — а ниже стоял жир-

ный номер. Такой же номер значился обычно и на письмах отца. Но после его гибели прошло уже больше двух месяцев, а поэтому не отцова это была посылка, нет. Чья же?

Мать, тоже немало подивившись, ножницами, плясавшими в дрожащих руках, начала вспарывать мешковину по шву. Скоро на стол вывалилось несколько консервных банок и что-то еще, клетчатое, темное, похожее на шаль. Но первым, за что схватился Макар, был почтовый треугольник, выпорхнувший из-под посылочной обшивки.

"Здравствуйте, Екатерина Константиновна и сынок ваш Макар! – было написано на тетрадном листке тем же химическим карандашом и тем же, что на посылке, почерком. - Пишут вам однополчане павшего вашего мужа и отца Груздева Ивана Семеновича. Хоть и горько нам писать, а вам будет еще горше читать, но должны мы рассказать, как погиб Иван Семенович. А погиб он в честном бою, как и подобает солдату.

Стояла наша часть под Сулеювом. И выпало в эту ночь идти Ивану Семенычу в караул. А было это накануне 21 января, дня памяти Ленина. За день до этого была у вашего мужа большая радость. Был он восстановлен в партии и комиссар вручил ему новый партийный билет. Радостный он уходил на пост. "Вот, - сказал, - вернусь из караула - домой письмо напишу, обрадую жену и сына, что есть правда на земле, что с партией меня действительно никто не разлучит. Разве что смерть... Ну, так мы еще поживем, повоюем, победу над Гитлером справим". Словом, ушел он на пост радостный. Не знал, что больше не свидимся.

Зимняя ночь длинна. Уснули мы, намаявшись за день. А среди ночи - гром, треск, скрежет. Прут на Сулеюв из-под Лодзи танки. Немцы, значит, из окружения вырвались и - на наше месторасположение. А у нас всего-навсего батальон связи. И кроме стрелкового оружия и телефонных катушек - ничегошеньки. Ну, танки проперли, а за ними - пехота...

После боя нашли мы вашего супруга у склада, где и стоял он на посту. Только лежит он там, родимый, обняв землю-матушку. И винтовка — рядом. А вокруг все трупы немецкие. Перевернули лицом в вверх, а у него две дырки в шинели, пониже ремня. Одна - от пули, другая от штыка..."

В голос закричала над ухом Макара мать и упала головой на стол. Вывалилось письмо из рук Макара недочитанным.

Клетчатое, темное оказалось не шалью, а небольшим аккуратным пиджачком. В письме было пояснение, что пиджачок этот решили воины батальона связи подарить Макару и что пусть Макар не думает, что он снят с какого-то убитого или живого немецкого мальчишки (наши бойцы - не мародеры вроде фашистов), а что взят пиджак в разбитом бомбой германском магазине, что денег за него, конечно, не плачено, да "за Гитлером остался должок куда побольше", и что бойцы-связисты надеются, что пиджачок "подойдет сыну погибшего русского солдата".

Долго сидел молча Макар над фронтовым подарком. Разглядывал и примерял его так и сяк. Нет, пиджак не был маломерком, не был мешковат. Наоборот, он был в пору притален и облегал фигуру, как влитой. Правда, он

никак не вязался со всей остальной Макаровой одеждой: вытертым пальтишком на вате, с заплатами штанами, а главное - с "волшебными мокроступами".

На груди пиджака было четыре кармана: два внутри и два снаружи. На боках тоже - по карману. А в правом боковом был еще потайной карманчик, который, видно, не заметили отправители. И вытащил Макар из этого тайничка бумажку крохотную, где что-то было написано по-немецки, вверху напечатан кружок, а в нем - толстая свастика.

Бумажку со свастикой Макар выбросил в печку, но ночью все равно увидел ее во сне.

Длинным был этот сон. И вместились в него вся Макарова жизнь. Вот опять склонился над ним отец Ануфрий. Держит он в руке бумажку со свастикой. "Эх, ты, - говорит он Макару. - Не тот крестик был во всем виноват, а вот - который!" Потом замутилось все вокруг и вылезли рожи разные: инспектор Живсинов, Пашка Гузов, еще кто-то незнакомый, похожий сразу на торговку хлебом и на шофера, который хотел дать Макару подзатыльника. И у каждого в руках - по пачке денег. Только вдруг эти деньги в бумажки со свастиками превратились. Шевелятся бумажки, шевелятся загогулины у крестов - и вот уже стали фашистские знаки пауками. Ползут со всех сторон. В страхе побежал Макар. И вдруг очутился в светлой комнате. Мама гладит его по голове. И рядом - Фаина Николаевна. А еще дальше у окна - Паша Лукоянов и Кольша Кулякин. Они укоризненно качают головами и говорят Нине Сомовой и Верочке: "А мы-то думали, что он - "О", а он вовсе и не "О"..."

Макар проснулся. Над ним, склонясь, стояла мать. Глаза ее были красны то ли от слез, то ли от бессонницы. Она жалко улыбнулась и сказала.

- Макарушка! Я вот до чего додумалась за ночь-то. Не простит мне Иван Семенович, отец твой, за то, что я тебя с учебы сорву. Нельзя тебе бросать училище. Ты подумай-ка сам, дело ли мы с тобой сделаем, если все порушим. Я тут у бабки Ульяны поживу. Оправлюсь, опять работать пойду. Слышь, Макарушка! Ты меня послушайся. Ладно?

Она как бы извинялась перед сыном за то, что просит его отменить свое первое взрослое решение, которое тот принял так мужественно, так, казалось, бесповоротно.

Макар молча встал. Так же молча заправил постель. Вышел к столу. Поздоровался с бабушкой Ульяной. Позавтракал молоком и картошкой в мундире. Потом подошел к матери.

- Ты права, мама. Я не останусь здесь, как хотел. Я буду каждую неделю приходить, помогать тебе буду. Ладно, вернусь в училище. Отец бы с нами согласился.

Через час он ушел опять с полупустой котомкой по макарьевскому тракту. У Марковицы встретил Ваню-Тряпочника, улыбнулся ему и пошел дальше, и, вдруг вспомнив, видимо, что-то, побежал обратно в гору, догнал на самом верху побирушку и, переводя дух, скинул с себя котомку. Лихорадочно развязывал устье мешка, словно боялся, что нищий уйдет. Потом запустил в котомку руку,

выхватил темный клетчатый немецкий пиджак, протянул Ване:

- На вот, держи! Это тебе - тряпочка...

За Марковичей начинался волок. Много еще раз пройдет по нему Макар в город и из города. Он будет хорошо знать каждый километровый столбик на этом пути. Он встретит разных людей на своей дороге, которая только еще началась по-настоящему, и которой, кажется, нет конца. Так бывает всегда, когда сердце молодо, а душа чиста, когда человек еще не подозревает, что он навсегда уходит из детства.